

ВИДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

•

Annotation

Повесть В. И. Даля "Бедовик" была опубликована в 1839 году в "Отечественных записках". Главный герой повести – уездный чиновник Евсей Стахеевич Лиров, которого называют "бедовиком", то есть неудачником в жизни. И вместе с тем это человек доброй души и благородных намерений.

- [Владимир Иванович Даль](#)
 - [Глава I. Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу.](#)
 - [Глава II. Евсей Стахеевич думает ехать в столицу.](#)
 - [Глава III. Евсей Стахеевич подмазал повозку.](#)
 - [Глава IV. Евсей Стахеевич поехал в Петербург](#)
 - [Глава V. Евсей Стахеевич поехал в Москву.](#)
 - [Глава VI. Евсей Стахеевич поехал в Петербург](#)
 - [Глава VII. Евсей Стахеевич действительно поехал в Петербург](#)
 - [Глава VIII. Евсей Стахеевич поехал в Москву.](#)
 - [Глава IX. Евсей Стахеевич до чего-нибудь доездили](#)
 - [Глава X. Евсей Стахеевич в ожидании будущих благ сидит на одном месте](#)
 - [Глава XI. Корней Горюнов не согласен жениться](#)
 - [Глава XII. Евсей Стахеевич наездился и воротился](#)
- [notes](#)
 -
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
-

Владимир Иванович Даль

Бедовик

Глава I. Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу

В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.

Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до семидесяти пяти раз в году, если не более. Он свято исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.

Евсея Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид ^[1] – и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день-другой, поработать – принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это, – думал Евсей Стахеевич, – кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам намерен слышал, как прокурор наш, например, попенял, очень недвусмысленно, одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе. „Вы, сударь, – сказал прокурор, – с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по

воскресеньям не уважаете...“ Что же тут станешь делать? Поедешь, поневоле».

Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты [2], и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: «У себя, принимают», или: «Выехали-с, не принимают», а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени – все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать думать и рассуждать про себя, тем более, что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.

«И как это глупо, бестолково, бессмысленно, – так думалось ему, – ну пусть бы уже раза два, три в году, коли эго необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то – каждое воскресенье, каждый божий праздник».

«Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю: можно ли принять с повального согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сёк нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуции: «Не я бью, сам себя бьешь». То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя. Он морщится, и я морщусь, – а между тем как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям, я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок. И пусть бы еще наш брат, мелочь ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресеньям не уважаете начальства», а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым – словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням...» В

это время Евсей Стахеевич, в числе пяти других чинов, приветливо и почтительно раскланивался, и шаркал, и нагибался перед супругой председателя уголовной и продолжал себе, нисколько не смущаясь, думать: «Например, объедешь не по чинам, не по званию, как я прошлое воскресенье приехал вот сюда, побывав уже у полицеймейстерши, потому что туда было по пути заехать, гневаются; или, например, начальник не принимает, да позабудешь записаться, как я же в вербное воскресенье, так уже на тебя смотрит этак, приподняв нижнюю губу, дескать не уважает начальства, зазнается; да, есть с чего нашему брату, подлинно! Или приедешь попозднее, потому что как ни бейся, а ко всем вдруг не поспеешь, да запишешься в конце листа, говорят: важничает, приезжает по-барски, словно к ровне; а приедешь пораньше, на почин, да запишешься на листе в самом заголовке – так и это не по чину, того и смотри, что опять-таки неладно, а норови и попадай в свою артель. Намедни, например, наш советник, приехав к губернатору, вымарал подпись мою и поставил ее под свою; да с сердцов еще так черкнул меня, бедняка, что только брызги посыпались. Что будешь делать! Или, например, войдешь в переднюю да кинешь второпях плащ на какую-нибудь прокурорскую шубу, как случилось это со мною, опять-таки по перстам тебя рассчитают, что с умыслу, да и только. Или, например...» Евсей Стахеевич, распроставшись с уголовным, сидел уже опять на столбовых дрожках своих, как первый член межевой конторы, объезжая его на щегольской паре, поднес словно нехотя руку к шляпе и закричал: «Что это вы опять делаете сегодня, Евсей Стахеевич? Вы развозите чужие билеты!» Лиров поглядел за ним вслед, опустил руку в боковой карман, достал и развернул пучок билетов и крайне изумился, увидев, что перед ним налицо действительно карточки чужие, всех цветов и величин, с разноцветными каемочками, с позолотою, с цветочками, даже с амурчиками и с восклицательными знаками, по вкусу и выбору господ хозяев. Этого мало: перебирая их, Евсей увидел, что женских билетов было почти наполовину, и один, между прочим, с буквами внизу: р. р. с. – pour prendre congé [3], которые Стахеевич в простоте своей принял за русские и истолковал словами: разъезжаю ровно сумасшедшая. Но наконец Лиров опомнился и спросил кучера своего, который остановился у подъезда одного из советников: «Власов! Где ты взял билетики эти?» Корней

Власов Горюнов оглянулся, спросил еще раз: «Которы? Эвти?» – и на ответ: «Да, эти, эти самые», – начал рассказывать преколичественную быль, как вице-губернаторские мальчишки, соседи Лирова, выбирали билетки из сору да стали было раскидывать их по улице, как Власов разогнал пострелов, подобрал билетки, завернул и положил их на окно барина и, наконец, видно невзначай, подал их сегодня вместо беленьких. Разговор этот у подъезда советника продолжался бы, вероятно, еще несколько времени, если бы полковник Плахов не наехал сзади четверней и выноской [4] мальчишка не взвизгнул пронзительным голосом, которому кучер с высоты козел своих вторил грубым и нахальным басом. Корней Власов продернул скорехонько до угла, а Лиров соскочил тут и побежал, назад к подъезду.

Отпустив поклон и заветное поздравление с праздником, то есть с еженедельным воскресеньем, Лиров стоял у косяка дверей в переднюю, глядел во все глаза на занимательную беседу прокурора с полковником о здравии его превосходительства господина губернатора и ее превосходительства супруги его, о наступающих новых дворянских выборах и ожидаемых по этому поводу новых стачек, разладиц, сплетен, ссор и мировых; об открытом на днях рекрутском присутствии, причем полковник делал кочковатые, резкие, топорной работы замечания, а прокурор с простодушным хохотом уверял: «Слава богу, что эта часть до меня почти не относится, право, ей-ей, слава богу; по крайности избавлен от всякого греха и искушения, и совесть чиста и спокойна». На все это глядел Евсей Стахеевич, но почти ничего не слышал; у него была привычка, принявшись в раздумье за какой-нибудь предмет, вертеть его во все стороны, обходить его кругом, осмотреть внутри и снаружи, переминать его как жвачку, поколе не спознается с ним, как с родным братом. Поэтому Евсей продолжал думать, как в приемной прокурора, так и усевшись опять на столбовые дрожки свой, таким образом:

«И слава богу еще, что я не член рекрутского присутствия, – это таки само по себе; но слава богу еще, что я не женат. Можно ли вынести равнодушно весь этот бессмысленный быт, эту убийственную жизнь нашего женского круга, этот великолепный житейский пустозвон и пустоцвет!... Визиты, с большим расчетом и разборчивостью, с осмотрительностью, по чинам, по званию, по

служебным обстоятельствам и отношениям мужей и здесь также составляют почти всю лицевую сторону, хазовый конец приятельских и дружеских сношений, то есть, собственно, внешнюю жизнь; на этом вертится все, этому одному посвящают время и безвременье, досуг и недосуг, а остальную часть дня размышляют и советуются о том, кому и какой визит отдать, и когда поехать, и сколько посидеть. Вновь приезжая барыня, или, как ее называют, дама, – а почему бы не краля? – обязана объехать все тридцать восемь домов, составляющие высшее общество города; младшие по чину, званию, богатству и значению в обществе спешат на другой же день засвидетельствовать ей свое почтение и готовность служить – на первый случай столиком, парой стульев, ухватом, кочергой; равные побывают в течение какой-нибудь недели, а чем барыня выше и почетнее, тем далее откладывает она обратное свое посещение. Между тем все они друг другу, одна одной, и в особенности новоприезжей, смотрят отвесно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, еще одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впереди, когда из всего этого выходит наконец огромный клубок или моток сплетен, которых не развяжет и не распутает и сам... «Виноват», – сказал Евсей Стахеевич, взявшись среди улицы за шляпу и думая, что проговорился при людях и вслух. Но как, по-видимому, никто, ниже и сам Горюнов не подслушали на этот раз Евсея, то проказник наш, отправляясь с крыльца на крыльцо, из передней в переднюю, все еще продолжал рассуждать про себя: «Коренные, старые жительницы не менее того обязуются объехать, по крайней мере на святой неделе и в рождество, каждая все тридцать восемь домов и, кроме того, явиться и показаться в первобытном виде своем после каждого шестинедельного домашнего заключения. Чем благосклонная посетительница выше саном, тем короче так называемый визит ее; иногда в буквальном смысле она успеет войти, чмокнуться, присесть, встать, откланяться и уехать – в полминуты, в тридцать секунд; намедни я видел это сам, поверив по часам своим визит вице-губернаторши. Визиты эти делаются вообще между одиннадцати и двух часов; и в это время в великаторжественные дни четверка за четверкой, пара за парой гонятся взад и вперед, вдоль и поперек по всем улицам и переулкам; все встречаются, здороваются, разъезжаются и спешат развозить

билеты свои, покуда еще никого нет дома. Но если вы спросите у советницы нашей, знакома ли она с предводительшей, то она вам скажет: «Нет», несмотря на то, что они обе честят и утешают себя и друг друга взаимно визитами; знакомы те только, которые ездят друг к другу *посидеть*. И это знакомство, посиделки, разделяется еще на два разряда: иные навещают друг друга по какому-нибудь первоначально случайному обстоятельству только по утрам и говорят: «Я была у такой-то *посидеть* утром»; другие – и вот это уже приятельницы настоящие, задушенные – сидят одна у другой по вечерам; это связь самая короткая, тесная, которая обыкновенно обходит поочередно кругом весь город; мы знакомы; маленькая неприятность расстроит знакомство наше – мы спешим врознь, прижимаясь теснее каждая к новой приятельнице своей, с рассказом странного поведения бывшей подруги, которая не сказала дома, или приняла меня холодно, или там-то сказала обо мне вот то-то; весть о разводной обегает в сутки змейкой и молнией по всем тридцати восьми дымовьям и очагам и наутро возвращается с привесками и отметками на полях к двум бывшим приятельницам, о которых теперь говорят: *они уже больше не знакомы*. На другой и на третий день после каждой подобной размолвки вы можете держать заклад, что у подъезда той и другой почтенной барыни стоит карета или коляска: это поступившие на упраздненные места подставные подруги; это заботливые искательницы, подружившиеся и поссорившиеся уже, в свою очередь, с уволенною ныне от службы и дружбы подругою; это торопливо услужливые новые приятельницы, утешающие одиночество и сиротство покинутых и обманутых. Новые подруги эти спешат передать вчера только сызнова добытым приятельницам, с коими, впрочем, также когда-то уже были знакомы и опять незнакомы, в приязни, в размолвке и ныне вот опять в самой тесной дружбе, – спешат передать, что говорят об этом в городе. Вот это я называю ягодками, потому что в них есть и семечки, от которых пойдет дремучий и непроходимый лес новых вздоров или по крайней мере не одна добрая десятина заглохнет бурьянником, репейником и сорными травами».

«А именины? – подумал про себя Евсей Стахеевич, вошедши в низкую, грязную, тесную, заваленную всякими дорожными припасами комнатку состоятельного помещика Козьмы Сергеевича

Мукомолова, который только что накануне приехал по домашним делам в город и угощал теперь поздравителей нынешнего дня ангела своего. – А именины? Это уж бог весть что такое! Можно ли ввести во всеобщее употребление обычай – поздравлять весь город своевременно с именинами и дать этому бестолковому тунеядному обычаю силу житейского закона! Другое дело, – продолжал Евсей про себя, раскланиваясь с Мукомоловым и имея честь поздравить его с днем ангела его, – другое дело сходить и поздравить старого приятеля, с которым я давно и коротко знаком, которого люблю и уважаю; а какая мне нужда до именин каких-нибудь ста особ, и можно ли требовать от человека, если он не в комитете по утаптыванию мостовой, чтобы знал и помнил все именины мужей, и жен, и подростков, – чтобы мало-мальски порядочный человек занимался таким бессмысленным вздором? Неужели и в самом деле обзаводиться академическим календарем [5] для того только, чтобы знать, в котором часу солнце заходит в Петербурге, какого вероисповедания папа римский, и чтобы отмечать на пробелах: 10 апреля гремел первый гром, 11-го – именины Кузьмы Панкратьевича, 12-го – Макара Андреяновича?»

– Какая мне нужда, – проговорил Евсей Стахеевич, забывшись, вслух, раскинув руки врознь, – какая мне нужда до именин целого города и могу ли я их знать и помнить?

Проговорив это, Лиров стал как вкопанный и не решался даже поднять шляпу, которую в испуге выронил; он потерялся и вовсе не знал, как отвечать в лад и в меру на приглашение расхохотавшегося хозяина-хлебосола: *хоть закусить*. Лиров подошел, не помня себя, к треугольному столику, покрытому синею измаранною ярославской салфеткой, у которой четыре измятые продольными складками угла неоспоримо свидетельствовали, что она исправляла также должность дорожного чемодана; робко взглянул на печатные ярлыки S-t. Julien u Lafit [6], très – qualité [7], выпил рюмку желудочной и потогонной, которую поднес ему сам хозяин, поклонился, схватил шляпу, растоптанную между тем вбежавшим спросонья человеком, выскочил без памяти на крыльцо, едва нашел ошупью и по слуху дрожки свои, едва проговорил: «Домой!» и кряхтел, кашлял, морщился, и отплевывался во всю дорогу, и дышал на ветер, и отворачивался, потому что Евсей Стахеевич от роду в первый раз отведал водки и на

этот первый раз закатил полную большую рюмку *дорожной отрады* Мукомолова, у которого Перепетуя Эльпидифоровна славилась хозяйством своим по всему околотку, лечила по лечебникам Килиана [8] и Енгалычева [9], как кто пожелает, и сама перегоняла тайком от откупщиков спирт и делала желудочную и потогонную, после которой ину пору побрякивал и сам Козьма Сергеевич Мукомолов.

Таким образом кончились на этот раз и визиты и размышления нашего Евсея Стахеевича.

Глава II. Евсей Стахеевич думает ехать в столицу

Надобно, однако же, сказать вам, кто таков был Евсей Стахеевич, и как он попал в Малинов, и прочее. Отец Евсея, или нет, лучше начнем с деда, – дед Евсея был воронежский мещанин, который нажил порядочное состояние скорняжным ремеслом, выучился в зрелых летах грамоте у староверов и стал подписываться: *Онуфрий Рылов*, тогда как доселе прозвание это, по-воронежскому, полуукраинскому обычаю, изустно произносилось просто *Рыло*. Поколение меньшего безграмотного брата Михея и поныне осталось при необлагороженном прозвании своем *Рыло*.

Но человечество совершенствуется с каждым шагом: у Онуфрия был сын Стахей, воспитанный во всей строгости раскольничьего изуверства; да лих не пошло впрок ни воспитание Онуфрия, ни даже нажитое отцом его добро: из Стахея вышел бойкий, разбитной детина, который семнадцати годов уже по грамотной части заткнул за пояс весь Воронеж. Он пошел в конторщики, наследовал отцовскими тридцатью тысячами, был потом секретарем в уездном магистрате, да одолела своекоштная болезнь, пошел пить запоем, месяца по три, по четыре сряду, и держался на месте своем, поколе не издержался; а когда он прокутил и прогулял все, то его устранили, и Стахей, с чином губернского, пытался было еще раза три приютиться, но уже не мог ни устоять на ногах, ни усидеть на месте; и потому, открыв в себе дар сочинять просьбы и писать стихи, Стахей не удовольствовался тем, что давно уже подписывался не Рылов, а Рылев, – это казалось ему и приличнее и благозвучнее, – а уверил себя к тому еще, что прозвание Рылев происходит от украинского *Рыле*, а Рыле – не что иное, как искаженное *Лири*; поэтому Стахей и стал подписываться и именоваться впредь отныне Лиров; а послышав в себе от пиитического прозвания этого пиитическое призвание, стал заниматься уже исключительно, только *вольным, письмом*. И у него была, правда, привычка ставить точку каждый раз, когда, бывало, захочется понюхать табуку или сказать слово постороннему человеку, а принимаясь снова за перо, расчеркиваться прописною буквою с

закорючками; то же самое случалось иногда и посреди слова, если веселая мысль одолевала и душа просилась на простор; но все это не было помехой письменному красноречию Стахея, равно как не мешали этому и перенос слова в другую строку на любой букве, перестановка букв *ять* и *есть*, излишнее употребление буквы *ь*, которая встречалась в творениях Стахея каждый раз после буквы *в* как неотъемлемая ее принадлежность, и, наконец, сплошное замещение буквы *ферт* *фитою*, потому что *фб* была, по мнению Стахея, буква вовсе неблагопристойная. Стахей одевался по воскресеньям всегда очень чисто, писал по заказу просьбы, письма, сделки и договоры, а нередко и стишки вроде следующих:

Офицерик молодой
С нею время препровел...

Писал, писал, гулял и женился наконец на дочери одной знаменитой просвирни, искавшей зятя, которого бы можно было продержатъ первые две-три недели после свадьбы в бесчувственном состоянии. Сваха взяла ответ и страх на свою голову и поручилась за исполнение необходимой меры этой, и Стахей, сочинив сам на свадьбу свое премилое поздравительное послание, был форменно учтив и вежлив с невестою своею как на обряде смотрения, на смотринах, так и на помолвке и, наконец, после венца. Что было потом – это он не запомнил; припоминает однако же, что у него болела голова.

Родился сын, был назван Евсеем, рос, обучался в уездном училище грамоте, поступил канцелярским служителем в земский суд, где и происходил чинами; вел он себя отлично хорошо, знал дело и работал неутомимо; наконец после разных приключений был он переведен, по ходатайству председателя, в гражданскую палату. Отца Лирова, Стахея, теща увезла, как необходимую домашнюю утварь, в спой город, где он, по слухам, дошедшим до бедного Евсея, волею божию помре.

Виноват ли был этот бедный Евсей, что он родился от таких родителей? Но свет этого не разбирает; у него как на визиты, которые Евсей наш так от души ненавидел, так и на всё свои обычаи, условные

приличия, уставы и обыкновения. Светские предрассудки, которые вырастили, вспоили и вскормили нас, так всеильны, что и читатели мои готовы откинуться от сына распутного магистратского секретаря и дочери просвирни, как будто он может отвечать за грехи предков своих! Разве мало дела человеку держать ответ за себя?

Евсей Стахеевич был необыкновенно честный и трудолюбивый человек, то и другое по какому-то редкому врожденному свойству, в котором не мог отдать ни другим, ни себе самому отчета. За это благородное, бескорыстное направление духа он был обязан... но об этом после; довольно того, что мысль и чувство вложены были в него природою, а развиты женщиною. Под всегдашним гнетом судьбы и людей, в неравной борьбе своей с людьми и с судьбою Евсей, несмотря на здравый ум свой и необыкновенное терпение, был несколько малодушен; он вырос и возмужал в каком-то унижении: обстоятельства не дали развиваться в нем силе и самостоятельности. Он был тих, скромен, потворчив, робок и до того снисходителен, что, казалось, не видел ничего там, где присутствие его могло быть для других обременительно, не слышал ни слова, если около него происходил разговор, который мог или должен бы ввести разговаривающих в краску. Слоном, Евсей был обыкновенно самый безвредный свидетель. Что он видел, слышал, то знал про себя, про себя об этом и рассуждал и не поверял никому на свете чужих тайн. Он сам был честен, благороден, добр, но он никогда не искал этих свойств и качеств в других, никогда не удивлялся, если находил противное. Если он не проговаривался вслух, что случалось, впрочем, с ним не слишком часто, то никому ни в чем не мешал и никогда не прекословил. Ко всему этому привык он еще с тех инстанций, где вокруг него нюхали табак, доставая тавлинку из-за голенища, и где для хозяйственного сбережения должность клетчатого платка нередко исправляли бумажные обрезки.

Заметим, как дело у нас на Руси не последнее, в особенности коли речь идет о чиновнике, что Евсей был человек грамотный; он писал самоучкой ясно, просто, гладко, коротко и даже довольно сильно. Если бы вы увидели его, как он робко и несмело подавал председателю своему для подписи бумагу своего письма, и если бы иногда прочитали одну из бумаг этих, то изумились бы видимой наружной противоположности сочинителя и сочинения. Но Евсей

писал так же смело, как думал про себя, а вслух выговорить не осмелился бы и сотой доли того, что писал. При всем этом он не требовал и не ожидал от других такой же грамотности. С неимоверным благодушием читал и понимал он донесение исправника, что «такой-то противозаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы частью найдены близ науличного окна, прочие же челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; потолок на второй половине прострелен дырою, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток» [10]. Или что «такой-то, едучи на телеге по косогору, при излишнем употреблении горячих напитков споткнулся и от нескромности лошади был разбит»; что «такой-то от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамятство»; что «в таком-то уезде статистических сведений не оказалось никаких, о чем и имеет счастье всепочтительнейше донести», – и прочая, и прочая, и прочая; все это, а иногда и хуже того, читал Евсей и понимал по навыку; никогда вслух не жаловался на бессмыслицу и думал только иногда про себя, если не мог вовсе добиться толку, а принужден был, не перекладывая таких речей и оборотов на русский язык, держаться одних бессмысленных слов и передавать их в этом же виде и порядке, – думал только иногда: «Создатель мой! Для чего люди не пишут запросто, как говорят [11], и выбиваются из сил, чтобы исказить и языки смысл! Почему и за что проклятие безграмотства доселе еще тяготеет на девяти десятых письменных и как это объяснить, что люди, которые говорят на словах очень порядочно, иногда даже хорошо, по крайней мере чистым русским языком, и рассуждают довольно здраво, как будто перерождаются, принимаясь за перо, пишут бестолочь и бессмыслицу, не умеют связать на бумаге трех слов и двух мыслей и ни за какие блага в мире не могут написать самую простую вещь так, как готовы во всякое время пересказать ее на словах? Почему это общий наш недостаток, что мы пишем гораздо хуже, чем говорим, и исключения из этого общего правила так редки? Отчего не только люди маленькие и темные, а порядочные, неглупые и деловые, не только заседатели, которых бог простит, а, например, и сам даже...» – Евсей оглянулся и продолжал думать тише прежнего –

а что, неизвестно: голова его сомкнулась, и мысль замерла в ней, как дерзкая мошка в цветке недотроге.

Нам, однако же, за отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахеевича не угоняться; остается еще только сказать сверх всего, о чем мы уже знаем, что бедного Евсея преследовала, казалось, с давних времен какая-то невидимая вражья сила. Евсей так к этому привык, что никогда беде своей не удивлялся, никогда не равнял себя в этом отношении с прочими людьми, считал себя каким-то пасынком природы и с покорностью подставлял повинную свою мечу и секире: но тогда меч и секира его щадили и дело принимало обыкновенно более смешной, забавный оборот. Есть же такие бедовики-неудахи на свете! Мелочные отношения суетной жизни, обычаев, обрядов и приличий беспрестанно сталкивались с Евсеем – или он с ними – локоть об локоть и выбивали его из привычной колеи. Губернатор любил его как работающего, делового чиновника, употреблял его нередко, когда он, Ли-ров, служил еще в губернском правлении; но и губернатор не понимал его и, следовательно, не мог оценить. А к какому роду из числа высших гражданских сановников принадлежал и сам губернатор, это видно из следующего происшествия, относящегося также к числу неудач нашего Евсея. Лирову было однажды поручено следствие; он его окончил совестливо, разобрал и очистил пресложное, запутанное дело и ждал спасибо. Но пронырливые ходатаи успели понаушничать наперед, оборотить губернатора лицом в лес, а затылком в чистое поле, и Лиров, воротившись и пришедши с донесением, встретил угрюмое чело, в котором одна знакомая его продольная морщина, проходя косвенно к правой брови, показывала *неудовольствие*. Оно так и вышло.

– Ваше прев-во, – сказал Лиров, чувствуя себя в полной мере правым и собравшись с необыкновенным духом, – ваше прев-во, позвольте мне объясниться; отношения мои к вашему прев-ству всегда были доселе самые откровенные; я имел счастье пользоваться...

– Какие отношения, сударь, – спросил губернатор, приподняв густые брови на целый вершок, – какие, сударь, отношения? Я думаю, рапорты!...

И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал, не оправдываясь, не объясняясь и вовсе даже не удивлялся этому

неожиданному обороту *отношений* своих к губернатору; казалось, Евсей был уже готов всегда и во всякое время услышать это или что-нибудь подобное. Этот случай рассказал я для примера, как судьба играла обыкновенно Лировым, и подобная удача ожидала его на каждом шагу.

Между тем председатель гражданской палаты выходил Лирова себе; здесь также шло довольно хорошо; Евсей был счастлив, как вдруг опять случилось вот что: гражданская палата, по малому числу дел, была соединена с уголовною, как и доньше, например, в Астрахани; поэтому Лиров, оставшись за штатом, был уволен в отставку с выдачей ему единовременного годового оклада жалованья.

Лиров носился мыслями бог весть где, но сидел уже целую неделю после отставки в Малинове и не знал, на что решиться. В таком положении были дела, когда дворянский предводитель дал вечер по случаю избрания его на второе трехлетие: событие, непосредственно связанное с понятием об анненском кресте; и предводитель созвал весь город, а в том числе и отставного чиновника гражданской палаты – пригодится.

И он явился и стал скромненько в углу, и опять, по всегдашней привычке своей, молчал, и обходил взорами кругом все собрание, и раскланивался, и думал про себя так:

«Сошлись все в одно место, или съехались, потому что в Малинове ходят пешком только прачки и кантонисты, – съехались в одно место, а глядят врознь. Да, люди – это настоящее китайское: сложи да подумай, *casse-tête* ^[12]; казалось бы, и не мудрено сложить да пригнать полдюжины треугольничков, четырех-угольничков. – да нет: угол за угол задевает, ребро попадает на ребро – не укладываются! Горе, да и только». Потом Евсей, у которого, как у всех чудаков этого разбора, мысли и думы металась иногда с предмета на предмет без всякой видимой связи или сношения, вздохнул, окинул глазом собрание и еще подумал: «Давно сказано, что в лице и в складке каждого человека есть сходство с каким-нибудь животным; но и по душе, по чувствам, по норову и нраву все мы походим на то либо другое животное. Вот, например, лошадь: коли кормишь ее овсецом да коли кучер строг, – работает хорошо, везет; но лягается, если кто неосторожно подойдет, и обмахивает мух и мотает головой. Вот легавая собака: знает немного по-французски, боится плети, и

поноску подает, и чует верхним чутьем, и рыскать готова до упаду; вот...» «Мое почтение, – сказал Евсей, нижайше откланиваясь, – мое почтение, Петр Петрович», – и думал про себя; «Вот кошка! Гладок, мягок, хоть ощупай его кругом, кланяется всем, даже и мне, гибок и увертлив, ластится и увивается и сладко рассуждает хвостом, – а когти в рукавицах про запас держит... А вот борзой: ни ума, ни разума, а как только воззрится да увяжется, так уже не уйдешь от него на чистом поле, разве только в лес – там ударится об пень головою да остановится. А вот настоящий бык: дороден, доволен и жвачку жует, а работает, словно воз сена прет, пьет по целому чану враз... А вот это хомячок; то и дело в свое гнездышко, в норку свою запасец таскает, все, что ни попало, – в норку, да и сам юркнул туда же, и след простыл. А вот и коршун: это сущая гроза крестьян, этот советник казенной палаты; ни курица, ни утица не уйдут от него на мужицком дворе: видит зорко и стережет бойко – это коршун... А это скопа [13], иначе назвать его не умею; скопа он за то, что хватает все и где попало: и с земли, и с воды, и рыбу, и мясо – где что найдется».

«Можно даже, – подумал Евсей, – взять один известный род или вид животных, богатый породами, и сделать такое же потешное применение. Например, не во гнев сказано или подумано, – собаку. Вы найдете в числе знакомых своих мосек, меделянских, датских собак, ищейных или гончих, найдете мордашек, которые цепляются в вас не на живот, а насмерть; таксика или барсучью, которая смело лезет во всякую норку и выживает оттоле все живое; найдете дворняжек, псовых, волкодавов, шавок и, наконец, матушкиных сынков, тонкорунных болонок; а легавого и борзого мы, кажется, уже нашли: вот они, один причувает что-то, раздувает ноздри, другой скучает, застоялся, сердечный, а гону нет».

Евсей Стахеевич повел глазами по красному углу, по хазовому концу гостиной, где Малиновские покровительницы сияли и блистали шелком, бронзой, золотом, тяжеловесами [14] и даже алмазами, и еще подумал про себя: «А женский пол наших обществ, цвет и душу собраний, надобно сравнивать только с птицами: женщины так же нарядны, так же казисты, так же нежны, легкоперы, вертлявы и голосисты. Например, вообразим, что это все уточки, и посмотрим, к какому виду этого богатого рода принадлежит каждая: председательша наша – это кряковая утица, крикуша, дородная,

хлебная утка; прокурорша – это широконожка, цареградская, или так называемая саксонка; вот толстоголовая белоглазая чернеть, а вот чернеть красноглазая; вон докучливая лысуха, которая не стоит и заряда; вон крохаль хохлатый, вон и гоголь, рыженький зобок; вон остроносый нырок, или запросто поганка; вон красный огневик, как жар горит и водится, сказывают, в норах в красной глине; а это свистуха, и нос у нее синий; а вот вертлявая шилохвость! Ну, а барышни наши – все равно и это уточки; вот, например, рябенький темно-русый чирочек; вот золотистый чирок в блесточках; вот миленькая крошечная грязнушка, а вот луточек, беленький, шейка тоненькая, с ожерельем самородным, чистенький, стройный, красавица уточка; вот к ней подходит и селезень, который за все победы и удачи свои обязан гладеньким крылышкам да цветным зеркальцам, коими судьба или наследство его наделили! Он берет грудью, как сокол, потому что, независимо от вишнево-лилового фрака, жилет его – неизъяснимого цвета, нового, какого нет в составе луча солнечного, и палевые к нему отвороты и серебряные пуговички с прорезью составляют главнейшие наступательные орудия разудалого хвата. Конечно, вихор и расчищенные по голове дорожки и изящная отчаянная повязка бахромчатого ошейника немало способствуют успехам его; но победоносный знает неодолимую силу своей жилетки и поэтому ходит обыкновенно по залам – видите, как теперь, заложив большие персты обеих рук за окраины рукавных жилеточных проемов и придерживая очень искусно шляпу свою правым локотком. Молва идет, что он и умывается даже в перчатках. И с каким самоотвержением и душевным удовольствием подает он дружески руку свою, всегда первый, если, как теперь, встречается с человеком в чинах и в крестах! Это не то что, например, Иван Ефимович, советник уголовной, – тот всегда не доверяет, кажется, и приятелю, и глядит каким-то следственным приставом, и протягивает руку, словно пистолет, вот этак...» Евсей Стахеевич, забывшись, вдруг протянул руку свою, как протягивает ее Иван Ефимович, и пырнул в бок проходящего со всего разгону лакея с огромным подносом. Лакей повихнулся, едва не уронил подноса, с удивлением и недоумением взглянул на Евсея Стахеевича, который препочтительно перед ним раскланивался и извинялся.

– С такими странностями мудрено служить в губернии, – сказал какой-то остряк вполголоса, – надобно ехать в столицу, себя показать и на людей посмотреть.

Евсей слышал это; нисколько не думая сердиться, он повторил про себя: «В столицу!» – и новая мысль блеснула молнией в замысловатой голове его. «В столицу? – подумал он. – В столицу – нет, совсем не для того, чтобы чудачу или бедовику было место в столице, а так просто, как ездят туда и живут там другие люди, – что, если бы я съездил и нашел там местечко? Что, если мне там повезет, если найду могучего покровителя... Ведь я теперь вольный казак, единовременного жалованья на прогоны станет, – что, если бы?»

Между тем Малиновские молодцы отплясали уже не одну французскую, охорашивались, однако ж, еще и выправляли плечи, между тем как девицы, которые, как вы знаете, всегда и везде милы и любезны, стояли махровыми пучочками и прохаживались, сплетаясь цветистыми, пестрыми веночками. Неужели же, спросят может быть, кроме девиц, которые так милы и любезны, все прочие жители и служители Малинова были одни животные, какими писало их своенравное воображение Лирова? Совсем нет, друзья, но дело в том, что у нас у всех, не только у Малиновских жителей, свои причуды, странности, недостатки и пороки – у одного более, разумеется, у другого менее. Если вы, вошедши на этот раз в состав китайской игры, о которой я упомянул, усаживаясь и размещаясь, попадете на беду локтем на локоть, упретесь коленом на колено, ребром в ребро, – ну, тогда беда; соседи ваши для вас не годятся, как и вы для них; нет сомнения, что можно бы разместить всех нас и так, чтобы углы за углы не задевали. Едва ли есть такой негодяй на свете, которому бы не было приличного и сродного ему места. Возьмите людей с одного конца, посмотрите на них с известной точки – все негодяи, все животные, один – меньше, другой – больше! Подойдите с другого конца, рассмотрите с иной точки – все люди, а иные, право, люди очень порядочные. Что же, наконец, собственно до девиц, то это статья иная; Евсей Стахеевич, при всей видимой неловкости и нелюдкости своей, кой на что нагляделся и кой до чего додумался. Он был того мнения, что девицы все милы, все любезны, потому, собственно, что они девицы; что на них смотреть должно вовсе с иной точки зрения и на одну доску с другими людьми не ставить; почему? –

потому что они – ундины; свойства и качества придут со временем, когда придет душа. Вот какой чудак был наш Евсей! Но он слышал или читал где-то финскую либо шведскую пословицу, которую припоминал часто и никак не мог выбить из головы, хотя она нередко ему досаждала. Пословица эта гласит: «Все девушки милы, все добры – скажите же, люди добрые, отколь берутся у нас злые жены?» А в самом деле, господа, откуда берутся у нас злые жены?

Поймав вовсе новую для него доселе мысль о возможности поездки и службы в столице, где в мечтах открывался ему новый мир, Лиров уже не расставался с нею во весь вечер, и на что бы он ни глядел и что бы он ни говорил, а думал все одно и об одном. Когда же наконец знаменитый съезд кончился, пыльные лица, мутные с поволокой очи, усталые ноги, расклепавшиеся прически и помятые кружева и блонды стали убедительно проситься домой, на отдых, то Лиров накинул плащ свой наизнанку, забыл и оставил в прихожей калоши и подумал про себя: «Еду». Слово «еду» отозвалось так ясно и положительно во всем составе тела Евсея Стахеевича, что он, испугавшись, оглянулся кругом; но, по-видимому, слово это сказано было не вслух или гостям было не до него: все озабочены были одеваньем и обуваньем; отрывистым тонким голосочкам: «Мой салоп, ваш клочок [\[15\]](#), платок» вторили тенором и басом: «Шинель, плащ, калоши», лакеи у подъезда звонким голосом запевали: «Такого-то карету!», на улице то тут, то там подхватывали: «Здесь!» А между тем уже кучера и выносные резко и зычно кричали и заливались, отгоняя впотьмах быстроногих пешеходов из-под лошадей. Спокойной ночи!

Глава III. Евсей Стахеевич подмазал повозку

Нам надобно познакомиться теперь с новым чудачком, который связан был с Евсеем узами дружбы и службы: это Корней Власов Горюнов, который за восемьдесят рублей на монету в год, выговорив себе еще товару на две пары сапог да головы и подметки, служил Евсею Стахеевичу верою и правдою, как прослужил двадцать пять лет в Семиградском пехотном полку. Корней ходил за барином в комнате, варил ему щи да кашу, по воскресным дням подавал и пирог, а иногда и битки, которые выучился готовить в походах, по недостатку поварского стола, на любом колесе, на шине полкового обоза. Корней ездил *за кучера*, как сам он выражался, стирал белье и отмечал сверх того мелком под полкой все расходы и приходы барина своего, который в этом отношении был безграмотен и верил всегда Власову на слово, когда этот, пересчитав и похерив все черточки свои по десяткам, приходил докладывать, что деньги все и расход верен. И в самом деле, Корней Горюнов был в одно и то же время честнейший человек, благороднейшая душа, и плут и мошенник. Он скорее готов был прибавить свою гривну, если никем не поверяемый меловой счет под полочкой у него не сходился, чем утаить грош у барина своего; но обмануть постороннего человека, обсчитать торговку, даже стащить что-нибудь на стороне при какой-нибудь крайней нужде – этого он вовсе не считал за грех, не называл воровством. Вор и мошенник в глазах его были люди презренные, и Корней был бы готов полезть с вами на драку, если бы вы стали уверять его, что и он бывал когда-нибудь вором и плутом. Он сам рассказывал, когда хвалился, что служил в полку верой и правдой, отродясь не обманывал начальников своих, – сам рассказывал, что считал непременною обязанностью украсть на дневке деревянную ложку или разбить горшок, если хозяин его дурно накормил. Но зато, напротив, разговаривал он с мужиком, у которого был на постое, и особенно с хозяйкою, чрезвычайно вежливо, нередко честил его «вы» и «почтенный», если хорошо кормили, и тогда уже старался угодить и отблагодарить чем мог; и если ложка эта была ему необходима, то он отправлялся за нею на другой конец села.

Кого Корней признавал другом, приятелем, товарищем или начальником своим, того берег и стерег пуще, чем себя самого и свое добро; но зато всех прочих признавал он неприятелями, в военном смысле, куда причитались некоторым образом и все чужие и незнакомые ему люди. С этими-то понятиями согласовались и все действия и поступки Горюнова. Евсей Стахеевич так привык к дядьке своему, что не мог без него жить, и ничего не делал, ни за что не принимался, не посоветовавшись наперед с Корнеем Власовым. И Корней Власов никогда не призадумывался, всегда советовал и подкреплял советы свои поучительными примерами и привык держать барина своего в руках, хотя ни он, ни сам барин этого не замечали. Вот почему необыкновенная решимость Евсея Стахеевича, которая, казалось, низошла на него вчера вечером каким-то наитием, поколебалась; он почувствовал, что надобно сперва посоветоваться с Корнеем Власовым, который тогда только беспрекословно соглашался с предположениями барина своего, когда они непосредственно относились к уменьшению расходов и сбережений барской казны; в противном случае Корней Горюнов объявлял без обиняков, что это «пустяки, сударь», и подкреплял решительный отказ свой присказками и разной бывальщиной. Так, он недавно еще не пустил барина своего на какую-то загородную пирушку или гулянье, куда был приглашен и Лиров; не пустил потому, что и это также были «пустяки», на которые требовалось из казны ведомства Корнея пять рублей. Власов в продолжение шестилетней службы своей при Лирове мог бы, казалось, убедиться, что барин его не только никогда не пьет лишней рюмки вина, но что обыкновенно не пьет его вовсе; несмотря, однако же, на это, Горюнов всегда увещевал барина своего не пить, понимал слова «гулянье», «пирушка», «вечер» по-своему и говорил: «Что толку в гулянье этом? Только что деньжонки рассоришь, там еще завтра и голову разломит, а надо идти на службу». Так рассуждал Горюнов и тотчас же подводил примеры: «Вот у нас в полку был такой-то и сделал то-то» и прочее. Если же самому Власову раза два-три в год действительно случалось погулять, то он винулся уже беспрекословно и вслед за тем предлагал барину своему повеселиться с товарищами и приятелями, уверяя, что денег еще осталось довольно, а треть на исходе и скоро будут выдавать жалованье. Корнею нужды мало до того, что барин его во все шесть лет службы при нем, Корнее,

не веселился с товарищами и приятелями ни одного раза; что он никогда не бывал на попойках и вел без всякого принуждения самую трезвую и воздержную жизнь. Корней обо всем держался своих понятий и думал: «Ну, благодаря бога, вчера не пил и нынче не пьет, а что завтра будет – бог весть!» Когда же Лиров журил порядком старика, даже и за то, что этот изредка погуливал, журил и спрашивал: «Как же ты в полку служил, Власов, неужели ты и там так же пил?» – и на ответ: «Всяко бывало», продолжал: «Да как же ты, старый хрыч, не боялся, ведь там бьют за это?» – то Корней Горюнов объяснял бесстрашие свое таким образом: «Первую выпьешь – боишься, вторую выпьешь – боишься, а как третью выпьешь, так и не боишься». Но у Корнея Власова была одна еще слабость, на которую Евсей Стахеевич при нынешнем предприятии своем крепко надеялся: страсть к походам и разъездам. Корней не любил засиживаться на одном месте и в былое время охотно снарядил барина своего в путь из уезда в уезд, а наконец и в губернский город. «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, – это была любимая поговорка Горюнова. – Мы, слава богу, не мужики, не приросли к земле да к избе, а видывали свету не только что в окне». Поэтому Евсей и предложил ему смело и прямо умысел свой, и вот каким образом и с каким успехом.

Лиров. А что, Власов, поедem в столицу?

Власов. Куда, сударь? В Питер? Извольте, поедem; известно, человек ищет, где глубже... тово, рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. А знатный город, уж сущая, сударь, столица. Мы и сами ездили с покойным барином, как последние четыре года службы жил я в денщиках, так стояли мы там, в Питере, по набережной: вот этак начальствующие генералы, этак мы, а вот этак прочие господа.

Лиров слышал только: «В Питере», а более ничего не слышал. Одно слово это сбilo его с пути и с ладу; он по привычке своей пустился думать и позабыл уже, о чем было заговорил; а Власов, которому обычай барина не мешать старику разговаривать чрезвычайно нравился, Власов долго еще продолжал разговор свой один.

«В Питере», – подумал про себя Евсей, стараясь доискаться, почему слово это его так озадачило, и наконец опомнился и успокоился, когда сообразил, что он о Питере и не думал, а думал только о Москве. В Питер! Почему же не так?

– А разве в Питере, – спросил он Власова, – разве там лучше, чем в Москве?

Власов. Как же, сударь, не лучше! В Москве только что купцы богатые живут да дворяне, а в Питере все большие господа. Да и лавочки, например, в Питере мелочные и овощные лавки почитай что в каждом доме есть, все что угодно, все найдешь, дальше угла и не ходи, и, пожалуй, еще на фатеру тебе принесут; а в Москве уж этого нет: там далече до всего, и все посылают, вишь, *в город* [16]; а это что самая ни на есть Москва, это у них, стало быть, и не город.

Лиров. Да в Питере, говорят, трудно добиться до места.

Власов. Отчего трудно? Пустяки. Вот у нас в полку майор вышел в отставку, поехал, и ничего, и слава богу живет. Вот и капитана одного у нас из полка перевели в Образцовый полк [17]; как приехал, так и определили его, и служил себе. Там только обыкновенно уже известно, коли приедет кто, коли из военных, так в ордонанс-гауз, к коменданту, отбирают подорожную, уж там ее и ищи; а коли из гражданских, так туда, в канцелярию генерал-губернатора, там уж и будет, Лиров. Я говорю, Корней, что в Питере нашему брату трудно добиться до чего-нибудь, коли не привезешь с собою каких писем да не заступится большой человек.

Власов. Да уж на это, сударь, нет чуднее Москвы: там, уж и сам наш полковой аудитор сказывал, а он из писарей был пожалован, и сказать уж, что грамотный человек и свету повидал, – так он, вишь, сказывал, что чужому человеку в Москве нет и ходу: все одни племяннички, говорит, служат; и на мое, говорит, место определили какого-то цыганенка аль калмычонка, что ли, что вышел от больших господ; так и определился, говорят, с собачонкой, которая табак нюхала; так, говорит, нюхала, что, бывало, покою не даст, поколе ей не отсыплешь. Шавка, говорит, была белая вся.

Такой неожиданный оборот дела поставил Евсея в крайне затруднительное положение, он не знал, на что решиться. Мысль об одной Москве уже кружила ему голову, так что когда Корней подал щи да кашу, а Лиров достал без всякой надобности часы из кармана и поглядел на них, не заметив вовсе, который час, то вслед за тем поднес было часы эти ко рту и едва не перекусил их пополам, воображая, что держит в руках ломоть хлеба. А теперь две столицы, как два сказочных видения, обетованные призрака, манили его направо и

налево, и обе таили под золотыми сводами и расписными потолками своими грядущую судьбу нашего доброго Евсея.

Разложив перед собою карту и водя пальцем взад и вперед, между Питером и Москвою, смотря по тому, куда переносился мысленно, Евсей Стахеевич остановился, съездив уже раз десяток взад и вперед, на Твери, – взглянул влево, на Малинов, и опять уже, как это так часто с ним случалось, напал на богатую мысль. Он решился выехать на Тверь, подумать дорогою, сообразить дело в Твери и своротить направо или налево – в Москву или в Питер – по обстоятельствам. Решено и сделано; хотя, впрочем, и не совсем, как мы увидим это после.

Выходив согласие и одобрение Корнея Власовича, Евсей собрался и снарядился в поход. Когда пришлось ехать однако же, то он расстался не без грусти даже и с Малиновым. Правда, у него остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а именно: собственное его жилище; семейство, к которому он было приютился и привязался, оставило Малинов навсегда уже за несколько перед этим времени. Но Евсей при всем том, уезжая навсегда из города, где жил несколько лет, немножко призадумался. «Если бы только, – подумал он про себя тихонько, – если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда живет подчас кривою, да кабы они еще немножко поменьше сплетничали и надоедали и себе и друг другу, – так можно бы и жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно. Был у нас председатель такой, что брал; нынешний, может быть, не берет, а все-таки правда наша держится только на убедительных доводах за подписью князя Хованского [18], и выходит одна только путаница, что ину пору не знаешь, куда оборотиться, кому кланяться, кого просить и куда идти».

Так думал про себя Евсей и объехал по способу малиновских прачек и кантонистов все тридцать восемь домов, потому что он кобылку свою уже продал. Он прощался со всеми и благодарил всех чистосердечно и от души; а прощаясь с председателем своим, через силу перекусил и подавил упрямую слезинку. Правда, что прощание это и в самом деле кончилось некоторым образом плачевно; председатель изволил кушать чай на крыльце, в холодке, а Евсей, собираясь встать, все отдвигался со стулом своим назад, покуда наконец не полетел вместе со стулом тычком и навзничь с крыльца,

передушив с полдюжины поросят, которые в Малинове пользуются полной свободой и довольствуются подножным кормом. Председательша, впрочем, успокоила испуганного Евсея, в то же время сказав: «Ничего, ничего, это не наши, это Пелагеи Ивановны, и я давно ей говорила, чтобы она не распускала поросят своих по всем дворам и по целому городу, а велела бы дворовым ребятишкам пасти их по пустырям». Перепетуи Эльпидифоровна, о которой упомянули мы выше, случилась тут же в гостях и сделала также с своей стороны все, что могла, в пользу нашего бедовика: она советовала ему, если хочет лечиться по Килиану, натереть ушиб запросто пенником и тереть байкой досуха; если же он более доверяет Енгальчеву, то положить по равной части вина и уксуса и прибавить щепоть свинцового сахара [\[19\]](#).

Глава IV. Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Евсей Стахеевич, укладываясь и усаживаясь в дорогу, был необыкновенно досужен, толков, распорядителен и заботился о вещах, которые, бывало, лежали вовсе вне круга его забот. «Не будет ли трястись, – спросил он у Власова, – крепко ли уложил ты съестной кузовок свой?» Власов тряхнул его раза два и с замечанием: «Малое толико движение дает» – поставил опять на место и приткнул сбоку дорожным, розовой лайки, кисетом своим, на котором изображен был какой-то вершник в латах и гора-горой головы зрителей, с подписью: *турнил*. На художническом произведении, на кисете этом, не взыщите за отступление, употреблено было все имя одного почтенного московского цензора.

Перепетуя Эльпидифоровна, рассудив, что молодой человек может пострадать по легкомыслию своему и от небрежения, прислала Лирову две бутылки с примочками. Власову, который отведал и ту и другую, килиановская показалась гораздо лучше: енгальчевская кисловата и вяжет рот, килиановская, по мнению Власова, была родом из турецкой крепости Килии, во уважение чего он и нашел ей место между кузовочком и кисетом. В это самое время Козьма Сергеевич Мукомолов вспомнил и рассказал супруге своей, заливаясь хохотом, как Евсей Стахеевич поздравил его наперед с именинами, объяснившись при этом начистоту, что ему нет никакой нужды до чужих именин; и Перепетуя Эльпидифоровна в ту же минуту Елеську – бегом догонять посланного с примочками Ваньку и воротить его. Но Елеська опоздал: бутылки были уже вручены. Посланцы, и тот и другой, стояли, сняв шапки, поодаль от повозки Лирова и перешептывались, не зная, как тут быть. Наконец, решились они просить Корнея Власовича возвратить им примочки. Горюнов охотно отдал им енгальчевскую, но с килиановскою расстаться не хотел, а потому и объяснил, что она уже истерлась и почитай вся. Перепетуя Эльпидифоровна рассуждала об этом происшествии очень много и рассказывала и трезвонила по целому городу, между тем как нашему бедному Евсею икалось от какой-то поганой окрошки уже за Вязьмой.

Пелагея Ивановна, супруга командира гарнизонного батальона в Малинове, прислала, однако же, фельдфебеля своего еще вовремя: Евсей только что заносил другую и последнюю ногу свою в телегу. Пелагея Ивановна приказала кланяться, велела просить целковый за два искалеченных поросенка. Не удивляйтесь этому: Пелагея Ивановна, как известно целому городу, незадолго до этого взыскала три рубля без вычета на ассигнации с неосторожного соседа своего за хохлатую и мохноногую курочку, которую задушила его борзая. Лишь только Евсей достал худощавый кошелек свой и запустил туда пальцы за целковым, как запыхавшийся слуга дворянского предводителя, в ливрее, без шапки, подал, кланяясь и улыбаясь и желая счастливого пути, вычищенные в лоск старые истоптанные калоши, которые Лиров позабыл намедни после балу. Все это происходило на счет выданного Евсею единовременного годового жалованья. Корней ворчал вслух, а все-таки нашел место и калошам, а именно: между кузовочком, кисетом и примочкой. Наконец Корней Горюнов взлез на телегу, сел, перекрестился, надел шапку, ямщик свистнул, тряхнул вожжами – и колокольчик зазвенел. Все жители Малинова вдоль Песчаной улицы, как значилась она на чертеже, или Вице-губернаторской, как обыкновенно ее называли, ложились в растворенные окна и высовывались по самые чресла, чтобы посмотреть, кто поехал или приехал. Кто не поспевал на зов колокольчика вовремя к окну или не мог признать Лирова в лицо, посылал тотчас же за справкою к соседям или на почту. Вице-губернатор советовал супруге своей, которая ожидала в это время сына в отпуск из армии и очень испугалась, нечаянно послышав Колокольчик, – советовал было послать за инспектором врачебной управы; но она, то есть вице-губернаторша, предпочла написать Перепетуе Эльпидифоровне французскую записку, которую ни сам Мукомолов, ни супруга его не могли разобрать, потому что они оба вместе и каждый порознь не знали ни слова по-французски. Перепетуя Эльпидифоровна, однако же, с помощью ближнего дозналась, что вице-губернаторша просит капле*ль от испуга*, и сама отвезла ей Килиановы мятные и Енгальчева эфирные капли. Мокрида Роховна или Роговна, как ее обыкновенно звали, полуполька, супруга инспектора врачебной управы, узнала об этом событии и при первом случае не оставила кольнуть как вице-губернаторшу, так и в особенности лекарку, Мукомолову; эта сказала

где-то в оправдание свое, что инспектор управы переморил уже более людей, чем у него седых волос на голове, что опять, в свою очередь, дошло до Мокриды Роховны, и вот с чего обе дамы эти разошлись очень нехорошо, так что, не говоря уже о бывалых вечерних посещениях, полтора года сряду не почтили даже друг друга визитом и помирились только по вновь предстоявшему рекрутскому набору. Кто загадки этой не понимает, тому надобно напомнить, что Мукомолов – зажиточный помещик, а инспектор врачебной управы не последнее лицо при приеме рекрут; в нынешний набор, который, на беду, случился вскоре после ссоры дам, Перепетуя Эльпидифоровна дорого поплатилась: и очередные и подставные – все с забритыми затылками воротились восвояси, и Козьма Сергеевич всех мужиков своих возил поочередно за полтора верст на выбор в рекрутское присутствие. Инспектор управы, обрусевший венгерец, был один из тех людей, у которых так называемая голова была особенного устройства: где едят – пошире, а где думают – поуже; собственно же голова его, не в переносном, а в прямом смысле, заключалась, как у рака, в желудке. Несмотря на это, однако же, как мы это сейчас видели, его на управление своею частью доставало.

Что подумал и заговорил Малинов о Евсее Стахеевиче по отъезде его? Евсей был не великой спицей в колеснице, но все-таки отъезд его из Малинова составляет некоторым образом событие, потому что в тесном кругу стесняются и мысли; политикой мои малиновцы не занимались вовсе, за что я их от души похваляю; а между тем каждый божий день надобно же было о чем-нибудь поговорить! Общего во мнениях и разговорах об этом предмете было только то, что Евсей был всегда чудак, и это без всякого сомнения вина виноватая. Но к этому прибавляли разные разное: губернатор сказал как-то, что Лиров был хороший чиновник, но иногда забывался. Не знаю, как понять это выражение: если его отнести к забывчивости и рассеянности Лирова, то и это некоторым образом справедливо; если же почтенный губернатор хотел намекнуть на недоразумение, возникшее когда-то по поводу отношений и рапортов, то губернатор опять-таки прав, потому что Евсей, видно, в отношениях своих горько ошибался. Инспектор врачебной управы говорил, что это такой человек, с которым нельзя ни связываться, ни зняться. Советники поглядывали с недоумением друг на друга и на подчиненных, как будто кого-то не доискивались. Души,

крещенные в чернилах, повитые в гербовой бумаге, молчали и, кажется, даже ничего не думали. Мы оплатим им тем же. Только председатель гражданской палаты, служивший по выборам и уезжавший теперь опять в свои поместья, говорил: «Да, если бы я оставался на службе, я бы этого человека не упустил». Для барынь Евсей Стахеевич был какой-то неловкий, темный молодой человек, который самым неприличным образом и без всяких обиняков бегал от партии, то есть не от виста, – к этому уже привыкли и было много охотников и без него, – но от пары, от невест, а и пуще того от свах. Для девиц, которые, как вы уже знаете, всегда и везде очень сострадательны, Лиров был какой-то жалкий молодой человек, но не противный. Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лиров берег, большею частью по крайней мере, про себя и увез их с собою; иначе, вероятно, был бы он помянут не тем и не так.

Теперь, когда мы уже знаем, что именно малиновцы думают о Евсее Стахеевиче и что думает Евсей Стахеевич о малиновцах, последних можно оставить на несколько времени в покое и заняться опять первым. Я вам могу сказать приблизительно наперед, по местным соображениям, что между тем сбудется и произойдет в Малинове. Единственный в городе булочник, который пек сухари и так называемый французский хлеб, вскоре уезжает, и потому оборотливое предприятие Перепетуи Эльпидифоровны посадить в Малинове своего хлебника, обучавшегося в Москве, увенчается полным успехом; во-вторых, новый чепец, или, если не ошибаюсь, наколка, которую выписывает вице-губернаторша прямо из Петербурга, дорогою растряслась, ящик разбит, и наколка приедет в самом отчаянном положении. За это почтмейстерше не миновать разных колкостей; тут уже, не входя ни в какие разбирательства и не принимая никаких отговорок, станут бранить в глаза и за глаза губернского почтмейстера или, что еще основательнее, его супругу. А наконец, полицейместерша, вероятно, вскоре раззнакомится с супругою первого члена межевой конторы, по крайней мере я так догадываюсь, судя по слухам, дошедшим до меня через губернскую повивальную бабку, которая одарена в высшей степени прозорливостью и соображением и знает многое, чего мы не знаем. Аптекарьша наша не так основательна: заключения и выводы ее

нередко бывают опрометчивы, потому что она все прикидывает на свой ревельский аршин.

О поездке Евсея от Малинова до Твери занимательного можно сказать немного: чем ближе подъезжал он к московской большой дороге, тем чаще доставал кошелек, тем дороже обходился каждый привал и перегон; а наконец, если не ошибаюсь, в Борисковом, где прождал он час лошадей, не спросив ничего, кроме стакана воды, заплатил хозяйке четвертак за *беспокойство*. До самой Твери потешливая судьба, казалось, потеряла из виду всегдашнюю игрушку и забаву свою, бедного Евсея; но в самой Твери она опять выследила его, привела голодного и усталого в изрядную гостиницу и заставила съесть какой-то биток, который подается, сказывают, в обертке, – совсем с бумажкой. Евсею никогда не случалось видеть блюдо это; он привык есть сплошь и подряд все, что ему ни подавали, и заканчивал обыкновенно на том блюде, которое заставляло его сытым; и если бы котлетку эту подали не только в обертке, но даже в корешке и в переплете, то он, вероятно, искрошил, изрезал и съел бы ее так же точно, как и теперь. Но случай этот заставил много хохотать притомных свидетелей, несколько молодых офицеров. Через две минуты вся дивизия, с киями и трубками и стаканами в руках, входила поочередно из биллиардной и рассматривала заезжего уездного чудака, который съел котлетку с бумажкой. Подученный офицерами слуга, переменяя тарелку, объяснил Евсею с лакейской вежливостью и приемами, что он изволил скушать бумажку. Евсей слушал его преспокойно, уставив на него выразительные черные глаза свои, и сказал только наконец:

– Так сделай милость, братец, подавай мне, покуда я голоден, одно съедомое: бумагами сыт не будешь, это я уже знаю давно.

Между тем рядом, в биллиардной, раздавалось только сквозь шум и говор и хохот: «Семь и двадцать один, девять и двадцать пять», да остроты преусатого корнета, который замечал каждый раз, когда биллия не была сделана: «А, этот широк в плечах, не полез в лузу!» В промежутках же то один, то другой заглядывали опять в боковую дверь на уморительного чужестранца, не утомляясь одними и теми же чередными остротами насчет бумажной котлетки. Евсей почувствовал, что он как-то не в своей тарелке, опомнился и рассудил, что ему в Твери искать вовсе нечего, и велел закладывать.

По московской дороге в лошадах остановки не бывает никогда, даже и без подорожной, а платят тогда только вместо восьми по десяти копеек с версты и с лошади; но староста спросил Корнея Власова, куда ехать, потому что из Твери лежит в разные стороны шесть почтовых дорог и чередные права ямщиков требуют этого сведения. Горюнов, ни на одну минуту не призадумавшись, отвечал: «Куда? Разумеется, в Питер». Староста, оборотясь к ямщикам, сказал: «На Медное». Повозку заложили, Евсей сел и поехал и тогда только вспомнил, что он из-за бумажной котлетки, которая столько ему досадила, не опомнился еще и не успел решиться, ехать ли в Москву или в Петербург. На вопрос его: «Куда же мы поехали?» Власов отвечал так же спокойно, как и прежде: «Куда? Разумеется, что в Питер», – и Евсей замолчал, решась предоставить участь свою судьбе и Корнею Горюнову.

Глава V. Евсей Стахеевич поехал в Москву

Лиров впервые ехал по московской дороге и испытал почти всю тягость своевольных и крайне бестолковых ямщичьих обычаев и условных постановлений. *Почти* всю, потому что Лиров ехал на перекладных, а следовательно, нельзя было ни впрягать лишних лошадей, ни, обступив толпою коляску, отвертывать и раскачивать винты и гайки, чтобы потом указать барину: «Вот у вас, видно, винт-от потерян», – и заставить заплатить целковый за ту же самую, перекаленную только в огне, гайку.

Неопытному ездоку на московской большой дороге беда: дорога эта – преддверье обеих столиц, мужики и ямщики на этом огромном распутье сделались уже какими-то прощельягами и мастерски обирают и осударивают проезжих. Даже весь порядок на ямах, эти запутанные очереди или *круга*, как называют их ямщики, потом бесконечные споры, крик, шум, жеребьи, кусанные или меченые гроши и мерянье по построкам, передачи или столь известные *слазы*, которые состоят в том, что при каждом колокольнике сбегаются десятка два-три ямщиков и, решив после долгого спора, за кем очередь, начинают торговаться, продавать и покупать седока, – все это может истощить терпение самого кроткого, миролюбивого человека. Покуда бесконечные сделки и проделки эти не кончились, вам лошадей нет, хотя их на яму, может быть, стоят до сотни троек; при каждом приезде и на каждой станции открываются при вас снова эти торги и переторжки, и тут уже не действуют ни просьбы ваши, ни угрозы, ни даже волшебное в других обстоятельствах «на водку», потому что, покуда не решено еще, кому ехать, никто гривенником вашим не прельстится. Его взять возьмут, но дело от того вперед не подвинется. Спрашивайте сто раз старосту – и его не выдают: он стоит тут же – в этом вы можете быть уверены – и кричит громче всех; но вам отвечают, что он пошел наряжать ямщиков и что его нет. Смотрители не хотят, да и не могут совладать с этими нахальными горлодраями и не имеют обыкновенно никакого на них влияния. Прибавьте к этому еще, что у них идут всегда какие-то две очереди

вдруг и есть, кроме того, какой-то вольный, передаточный круг, от которого вас да избавит бог, и вы согласитесь, что это бестолковщина и путаница в высшей степени.

Евсей Лиров попадал в ловушку на каждом шагу, несмотря на все старания и хлопоты Корнея Горюнова, который наконец уже и сам выбился из сил, спасовал и пошабашил, потому, как уверял он, что не военному и еще не по казенной надобности ездить не годится. Евсея передавали с рук на руки, торговались и продавали на каждой станции, после каждого перегона сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымаливали и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его не беспокоить ночью к расчету, а после заставляли уплачивать сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаимным расчетам, скоплялись на последней станции, и, уверяя нахально в глаза, что это было по ряду и в уговоре, не везли дальше, между тем как тот, с кем Евсей рядился, покинул его на том же месте, продал, взял слазу и после того сменилось уже на том же основании пять или шесть человек.



Таким образом Евсей Стахеевич наконец добился до Чудова, за пять только станций от Петербурга, как вдруг проняла его дрожь, когда прочитал он на столбе, что осталось всего сто одиннадцать верст. Страшно было подумать нашему Евсею, что через какие-нибудь

полсутки будет он в столице, в этом вихре, водовороте, в этом исполинском смерче кипучей жизни, где всё и все ему чужие, все, от первого до последнего. Куда там приютиться, каким путем начать искать место, куда, к кому обратиться... «Стой, – подумал Евсей, – надобно пособраться с силами и с духом, приготовиться да сообразиться, дела этого рода так не вершатся. Я думал ехать в Москву, меня повезли в Петербург, и я не успел еще опамятоваться». И, покинув повозку свою у чудовского почтового дома и верного стража, неизменное копьё свое при ней, отправился он пешком куда глаза глядят, пройтись и подумать, Корней Горюнов выспался, потом встал, умылся, набил трубочку свою, присел у подъезда, начал преобширный разговор с ямщиками и рассказал им почти всю службу свою с начала и до конца. Началось тем, что слуга гостиницы спросил, где ночевали, а Власов отвечал преспокойно и не оглядываясь: «Под шапкой»; потом разговорились, зачем и куда едут, и вот Корней Власович уже рассказывает слушателям своим, что прежние времена не нынешние, что прежде бывало много дивного, а нынче – что, и прочее, Между тем, однако же, настал вечер, смерклось, Корней Власов давно уже покончил рассказы свои, а барина его нет. Стемнело вовсе, и Власов начинает уже крепко беспокоиться: «Это, – говорит, – дивное дело, о сию пору, хоть бы и потонул, прости господи, где-нибудь, так бы уже давным-давно на воду всплыл; а его таки все нет да нет; диковина, да и только!»

Но диковина, как это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался тугою думою, пустившись по дороге направо, в село Грузино [\[20\]](#), шел да шел и все думал да думал. Ему как-то тесно стало на чужбине; он вспомнил о семействе, к которому было так крепко привязался, стал припоминать все былое и минувшее, хотел забежать и заглянуть вперед, что будет, чего ожидать, – наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что он просто *бедовик*, которому, видно, на роду написано маяться и перебиваться до последнего дня своей жизни. Хорошо, если бы нам позволялось заглядывать таким образом иногда вперед, в конечные страницы таинственной книги судеб; хорошо, а может быть, и очень худо, если бы можно иногда предугадывать назначение свое и участь; но как бы то ни было, а Лиров думал, что заветная тайна перед ним раскрылась,

что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную думу донес он наконец до села Грузина, куда дошел без умысла, без намерения; но, дошедши туда и оглянувшись и услышав, что это село Грузино, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него в голове стало тесно, в груди душно. Утомившись до крайности, нашел он наконец на обратном пути своем мужика, который его подвез до места; и вот почему Лиров явился в Чудове уже близко полуночи.

Около того же времени приходит в Чудово и петербургский дилижанс.

Когда Лиров возвратился, два дилижанса, четырехместная карета и огромная шестиместная колымага, стояли под крыльцом почтового дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; месяц на убыли взошел с час тому назад, и три женщины прогуливались взад и вперед помимо крыльца в ожидании запряжки. Лиров остановился рядом с верстовым столбом, и отныне, более чем на четверть часа времени, у Чудовой станции стояли не один, а два столба. Мы знаем уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять, и плядеть во все глаза, и думать про себя и больше ни о чем не заботиться; поэтому нас два столба эти не удивят: ни тот, который стоит уже многие годы в неизменном пегом кафтане своем и не думает, вероятно, ни о чем, ниже другой, в черном сюртуке, с острыми карими глазами, который столько досаждаст и себе и другим всеми странностями своими и затяжною думою.

Наконец мужчина средних лет со звездой подошел звать барынь в карету и взглянул при этом на притаившегося соседа своего, на Лирова, так незастенчиво, что недоставало к этому только вопроса: «А тебе чего тут надобно?» Потом, оборотясь к попутчицам своим, спросил по-французски: «Не попросить ли и его также в карету?» В это самое время Корней Власов, не видя еще впотьмах барина своего и приложившись с отчаянья и нетерпенья к килиановской, рассказывал ребятам, что, бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь, да месят грязь по колено, а конница и пуще того кирасиры обходят их подбоченясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!» Бедный Евсей вздохнул втихомолку и применил рассказ старого служивого к себе и к надменному насмешливому звездоносцу. «Что, я ему мешаю? Разве и солнце и

луна не для всех нас равно светят, куда бы луч их ни упал? Разве природа освещает лучом этим предметы исключительно для каких-нибудь избранных любимцев и баловней своих, а не ради всякого, кому чадолюбивая дала зеницу ока? Неуместная зависть и горькая, несправедливая насмешка! Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное «не пылить»?»

Так-то заносился думами наш Евсей Стахеевич и все еще стоял на одном и том же месте, когда и карета, и кавалер ордена звезды, и предмет, на котором Лиров созерцал так благоговейно отражающийся лунный луч, давно уже умчались из вида. Колымага еще стояла все тут же; одна барыня, из числа клади, занемогла и упростила спутников своих дать ей часа два отдыху и покою.

Власов непритворно обрадовался, увидав наконец своего барина, и рассказам и объяснениям Корнея не было конца. Раз десять принимался он рассказывать, как он дивился и дивовался, что нет барина; что за пропасть фу ты пропасть – эка подумаешь и прочее. Евсей отвечал на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять по образу пешего хождения, как изъяснялись в Малинове, и пустился прямо по дороге туда, куда покатила карета. Но Власов поймал его за полу, снял перед ним шапку и побожился, что не пустит его более никуда; потом выпустил из правой руки полу и перекрестился, побожившись еще раз, что не пустит, а после всего этого уже стал уверять и божиться, что пора ехать, что их в Питере, чай, давно уже ожидают и так далее. Не знаю, поверил ли Евсей последнему обстоятельству, но по крайней мере он не мог противиться решительным мерам Корнея Горюнова; понял слова: «Ей-богу, не пущу, вот те Христос, не пущу» – и воротился назад. А вошедши в гостиницу, он и сам немало изумился, когда один из старых и давнишних знакомых его, о котором поговорим после, вскочил со стула и вне себя от радости обнял и облобызал его с восторженными восклицаниями и исступленными возгласами. Малинов, Москва, Петербург, Грузино, карета, луна на ущербе, новый приятель – все это сбилось и смоталось в голове Лирова в огромный клубок, которым, казалось, голова его набита туго-натуго, так что ни для какой думы не было более места, иначе Евсей Стахеевич был бы почти готов подумать хорошенько, Власов ли или уж не сам ли он, Лиров, приложился сегодня с горя к килиановской? Между тем, чтобы

говоривши долго да коротко кончить, все это вместе, и Чудово, и Питер, и Москва, и Малинов, и Грузино, и карета, и луна, и дилижанс, и новый приятель, – все это снова распуталось и приняло в уме и памяти Лирова настоящий толк и смысл, когда он, Лиров, уже около рассвета сладко дремал, сидя в том же самом дилижансе, который стоял перед Чудовым почтовым домом, а теперь ехал в Москву. Итак, Корней Власович, поворачивай оглобли да поезжай в Москву, а в Питере еще подождут.

Глава VI. Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Вот извольте ли видеть, как дурен этот обычай делать наперед уже надпись или заголовок перед каждой главой! Евсей Стахеевич только что отправился с дилижансом и старым приятелем своим в Москву, а тут, вслед за тем, уже поневоле пророчишь, что он опять поедет в Петербург. Надобно, однако ж, пояснить еще первое обстоятельство; и вот как все это случилось.

Евсей Стахеевич вошел в первую комнату гостиницы Чудовой, как вдруг невысокий черноволосый мужчина в зеленом мундирном сюртуке с желтыми пуговицами, с дорожною трубкою в руках кинулся его обнимать. Лиров узнал старого своего сослуживца тех инстанций, о которых мы уже говорили, упомянув о тав-линках и бумажных платках. Это был запросто Иван Иванович, и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчиновный – чтобы не сказать бесчинный – служитель жировского земского суда. Ивану Ивановичу стало тесно в земском суде, – да, признаться, ему и письмо как-то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по белому свету и попал, как видно, на большую дорогу. Лиров с тех пор потерял его из глаз и из памяти; встреча эта при нынешних обстоятельствах все-таки обрадовала Евсея; по крайней мере знакомое лицо, если смею назвать так Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбине и грустно. Он, разумеется, полюбопытствовал узнать звание и место бывшего сослуживца своего, который разъезжал себе так важно в дилижансе между обеими столицами, так развязно, так ловко принял старого знакомого и распоряжался в почтовом доме как дома, приказав уже подать на радости бутылку лучшего вина, – слово за словом, и Евсей услышал собственными своими ушами, что Иван Иванович, которого он считал по виду, по осанке, по обращению по крайней мере титулярным советником, если не коллежским асессором, что Иван Иванович просто-запросто кондуктор, проводник дилижанса. «О, – подумал Евсей про себя, – при всем уважении моем ко всякому состоянию и ремеслу, даже к знанию проводника дилижансов... но если попытка

уездного жителя видеть свет и служить в столице сулит такое или подобное этому блестящее поприще, тогда... тогда...» Но Иван Иванович тряхнул Лирова за локоть, которым этот подперся было, повесив голову, – тряхнул, раскачал и растолкал его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лиров заметил презрительную улыбку старика трактирщика, колченогого голштинца, в ответ на запрос Иванова и прочел на ярлыке, хотя и мало смыслил толку в винах, что цена этому чудному вину назначена была восемь гривен. Между тем Иванов, не спросив даже того, за чье здоровье опорожнил уже полбутылки этого красного ротвейна, то есть Лирова, куда и зачем он едет, где служит, как служил доселе и прочее, принялся сам рассказывать ему о кунсткамере, которую теперь, к сожалению, разорили [21], и о Грановитой палате, которую привели в положение [22]; о памятниках Петру Великому, Минину и Суворову с Пожарским; о самородковом столпе Александра Благословенного [23]; о царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент [24], и об Английской набережной, на которой лежат две свинки [25], огромные, как значится и в самой на них надписи; о Красной площади и об Эрмитаже, – и везде он был, и все видел, и везде принят как дома. Он продолжал в этом духе, покуда наконец староста пришел доложить, что ямщики не хотят долее дожидаться и просят позволения, коли господа не поедут, отпрячь лошадей. Между тем и Власов доносил, что повозка давным-давно заложена и что пора, ей-богу пора ехать. Иванов вскочил, побежал опрометью и прилетел с известием, что больной барыне полегче и что она собирается в поход. Лиров стал прощаться, но Иванов не хотел этого слышать. «Сошлись, – говорил он, – через восемь лет и старые товарищи и приятели, а теперь разбежаться врознь! На что это похоже?» И при этих восклицаниях размахивал он руками, словно мельница, и сшиб со стола кожаным картузом своим порожнюю бутылку. Лиров невольно отскочил и наступил на ногу содержателю гостиницы, старому подагрическому немцу, который подкрался было к столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и растопался, как будто настал его последний час. А бедный Евсей уже стоял, и кланялся, и просил, и извинялся.

– Ну полно, полно, – продолжал Иван Иванович, – ведь Иван Иванович не сердится, я его знаю, он тезка мой и старый приятель! Послушай же меня, Стахей Сергеевич, – так, кажется, зовут тебя? Не откажи другу, поедem вместе!

– Да послушай же и ты, – отвечал Лиров, – я еду в Петербург, а ты в Москву; как же нам ехать вместе?

– Да зачем же ты едешь в Петербург?

– Искать места, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.

– Где? В Петербурге? Место? Пристроиться? Да какие там в Петербурге места?

– Какое найду; побьюсь, поколочусь, мне не привыкать стать; авось добьюсь.

– Где, в Питере? Да какие там места, говорю я тебе, какие места в Питере? Нет ни одного; кто ж там у тебя есть, дядя сенатор, что ли?

– Хоть бы лавочник какой был, так я бы и за то спасибо сказал: было бы у кого пристать. Нет, я так еду, на вывези господь; у меня нет там никого.

– Шут ты прямой, да и только! И нашел же где искать места, в Петербурге! Стало быть, у тебя нет там никакого дела больше, никакой нужды?

– Да, никакой больше, дай бог и с этой одной управиться.

– Так полно бредить, коли так, поедem вместе, у меня в моем дилижансе и четвертые места оба порожние; садись да поедem; все равно, чем ехать порожняком, подвезу, да уж зато на выбор дам тебе место в Москве, какое захочешь. Да! В Питере нашел место!

Евсей подумал: «Врет-то он врет, что место даст, это я знаю; коли сам в проводниках, так, видно, и у него нет дяди в сенаторах; да ведь, правду сказать, мне что Москва, что Петербург – оба равны; коли человек берет с собою, и еще даром, и познакомит меня, может стать, хоть с кем-нибудь в Москве, – почему уж не ехать? А говорят, действительно трудно найти место в Питере, да я и сам говорил это наперед Власову; сверх всего этого, мне как-то душа говорит, что мне надо бы ехать в Москву...» Тут луна на ущербе и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло в воображении Лирова, но он решительно ничего об этом не думал, не рассуждал, а сказав сам себе: «Нет, все это вздор; доехав за сто верст до Петербурга, было бы слишком смешно и глупо воротиться в Москву, когда и тут и там виды

и надежды мои одинаковы: поеду в Питер». Сказав это сам себе, спросил он только Иванова, вовсе сам не зная, что говорил:

– Да как же быть, у меня телега заложена и со мною человек...

– О, об этом не заботься, это мое дело. Это мигом уладим.

И Лиров не успел ни опомниться, ни очнуться, как Иванов велел отложить телегу его, дал Власову какую-то записку на место в *сидейке*, которая должна была прийти, по словам господина кондуктора, через час или полтора, обнял и усадил Евсея с заднего крыльца в рыдван свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полесь, в Москву.

Евсей распустил на досуге поводья вольной вольнице своей, этой докучливой для нас уносчивой думе, прищурил глаза и после проходки в Грузино и беспокойной ночи заснул на зыбком рыдване мертвым сном и проспал два или три перегона до самого Новгорода. В крепком и продолжительном сне прошел он снова все инстанции своего служения, подавал секретарю и членам огня и набивал трубки, наливал чернил, между тем как сторож отбирал у двух товарищей его, по приказанию секретаря, сапоги; потом перепечатывал, как наборщик, бумаги, глухо и слепо, не заботясь о содержании их, потом сидел уже сам за зеленым сукном и так далее. Но все это было озарено каким-то новым, таинственным светом; и везде и всюду видел он теперь в углу в киоте, на обычном месте, какую-то ангельскую головку, которая завесила душеспасательные очи свои темными ресницами; Лирову хотелось помолиться, но откуда он к ней ни заходил, никак головка эта не хотела на него взглянуть, упорно потупив взоры. Вот около чего вертелись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательниц наших: что значит этот сон?

Дилижанс остановился в Новгороде, и Евсей, проснувшись и потянувшись, стал ощупываться и оглядываться, припоминая все, что над ним сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тем Евсею как будто чего не доставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведения этого обстоятельства в ясность он объяснился сам с собою откровенно, и по справке оказалось, что он был просто-запросто голоден. Итак, он позавтракал в гостинице, а доставая деньги на расплату, увидел, что с ним была только одна мелочь, а бумажник хранился у казначея, Корнея Горюнова.

«Надобно, – подумал Евсей, – рассчитать, чтобы стало до Москвы». В Валдае, однако же, довольно пригожая девушка уговорила его еще купить колокольчик с надписью: «Купи, денег не жалея, со мною ездить веселей»; а другая с приговорками: «Ты мой баринушка, красавчик мой» – втерла на двугривенный баранок. Отроду в первый раз Евсея называли красавцем; ему это показалось так забавно, что он купил баранки и грыз их дорогою, улыбаясь выдумке затейливой продавщицы. Но в Вышнем Волочке Евсей пожалел уже о своем мотовстве, потому что вспомнил еще одно неприятное обстоятельство: где найдет его Корней Горюнов в Москве и скоро ли еще до нее доволочется? Власову вовсе не сказано было, где искать барина, да и барин еще сам этого не знал. Поэтому Лиров проехал Торжок не торговавшись, а притворяясь спящим, не купил ни одной пары гнилых бараньих сапожков, хотя они продавались за козловые и были ему очень нужны. Лиров был один из тех людей, которые иногда целый год не думают мотать, даже не решаются купить и необходимое, но зато, пустившись однажды в покупки, готовы закупить все, что ни видят глазами. В Твери Евсей забыл вовсе о бумажной котлетке, вошел в гостиницу и спросил было поесть. Но когда в биллиардной раздалась во всеуслышание весть, что «уморительный чужестранец, который съел бумажку, опять прибыл», то Лиров воротился в дилижанс и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходил, и высматривал, и искал барина, который спрашивал закусить; но Евсей сам себя не выдавал и поел уже в Городне.

В Черной Грязи, то есть на последней станции к Москве, словоохотливый Иванов наконец счел нужным объясниться с Лировым. Взяв его под руку и отшед в сторону, сказал он:

– Послушай, дружище, я взял тебя так, на свой страх – понимаешь, не на счет конторы, а от себя, по дружбе и на порожнее место: так уж ты, сделай милость, в Москве где-нибудь на дороге слезь, а в контору нашу не ездь, или не останешься ли, может статься, здесь, в Черной Грязи? Смотритель мне человек знакомый, да отселе и недалече, попадешь в Москву, когда захочешь.

«Приятное предложение, – подумал Лиров, – и самое приятельское!»

– Да помилуй, не ты ли сулил мне не только довести меня до Москвы, но и пристроить к месту? По крайней мере сдержи хоть

первое обещание да довези; ведь я не напрашивался, а ты сам меня угостил!

– Ну, не вдруг же все, любезный; не горячись, место – это легко сказать, да и место месту рознь. Пожалуй, мало ли мест и даром дают, да никто не берет, что в них? Будет тебе и место и все, только погоди; я ведь, видишь, по службе, по должности своей всегда разъезжаю взад и вперед промежду столиц, Москвы то есть и Питера, и есть у меня основательные друзья и тут и там, – и я тебя не забуду; но рассуди сам, как же мне везти тебя в контору свою? Тогда все труды и беспокойство мое пропадут задаром, там с тебя сорвут, а уж мне ничего не достанется; а не две же шкуры с тебя сымать!

«Эге, – подумал Евсей, – да как же он вытерся и наметался!»

– А где же я найду после всего этого человека своего? – спросил он. – Помилуй, что ты со мною делаешь?

– Человека? Э, он не пропадет! Язык до Киева доведет, да и кроме того, братец, верь, по записке моей, – ведь сидейки от нас же ходят, – по записке моей его на руках принесут, свяжут да привезут, коли заупрямится, а на месте будет, об этом не заботься.

– Да место-то велико: где я его найду в Москве?

– Да, в Москве! Ну то-то, видишь, поэтому тебе и лучше выждать его здесь; с ним вместе и отправишься!

– А, так мне сидеть ночь и день на перепутье и выжидать сидейки, чтобы не проглядеть ее! Хорошо и это! Спасибо, друг Иван Иванович! Ну, а что, если я тебе еще скажу, что при мне теперь налицо состоит только два двугривенных, коли еще не один пятиалтынный, – не видать точек, – и что деньги мои остались у человека?

– Экой же ты шут подновинский ^[26], ей-богу шут! Да кто же этак ездит? Ты думаешь проехать от Жирова до Малинова? Нет, брат, тут без рубля нет и копейки, не как там, без копейки рубля! Ну, хорошо, что наткнулся ты на старого приятеля, на товарища, а другой бы на это не посмотрел...

Евсей Стахеевич устал по привычке своей глаза на Ивана Ивановича, сложил руки и начал думать, так, про себя; а отвечать не отвечал уже более ничего. Но он этим не отделался от старого приятеля и товарища: Иванов полез шарить с заднего крыльца в дилижанс, вытащил оттуда старый плащ Лирова и колокольчик, то есть

все, что там было, стал разворачивать и разглядывать сперва плащ и заметил вслух, что он уже очень поношен.

– Так уж отдай мне, Евсей Стахеевич, – продолжал Иванов, – отдай до времени на дорогу хоть шинелишку эту, я поберегу тем часом свою от пыли, ведь моя стоит без малого сто рублей! – И не выжидая ответа, сложил он плащ и перекинул его на левую руку, а правую поднял повыше колокольчик и прочитал по складам: – «Купи, денег не жалея, со мной ездить веселей», – позвонил, прислушался и продолжал: – Экой проказник, Стахей Евсеевич, да с какой погудкой выбрал, да заунывный какой! На черта же он тебе? Теперь, чай, уж и без колокольчика доедешь, недалече, отдай уж мне и его, нашему брату, дорожному человеку, пригодится!

Заметив, что Евсей Стахеевич на все это, по-видимому, соглашается беспрекословно, что он был тих, и смирен, и кроток, и в лице у него «ни тени злобы», Иванов подошел к нему, попотчевал его трубкой, убрав уже на место и плащ и колокольчик, и в ответ на отказ Лирова, который сказал, что не курит, заглянул как бы мимоходом Евсею за воротник и спросил:

– Да сюртучишко у тебя никак сверх фрака надет аль нет?

– Нет, любезный товарищ и дорогой приятель, – отвечал Лиров довольно положительно, – не две же шкуры с меня сымать, как сам ты сказал; сюртука я тебе не дам.

– Экой чудак! – сказал Иванов, захохотав, прикусив роговой наконечник пружинного чубука своего, свернутого узлом, и почесывая затылок. – Экой чудак! Да кто же об этом говорит? Ты уж и сейчас и бог знает что подумал! Полно горевать, – продолжал он, потрепав его по плечу, – приезжай-ка в Москву, так гляди как заживем, и местечко найдется, да еще и служить будем вместе; что ты задумался, а?

И затем Иванов раскланялся дружески с Лировым, обнял его, полез в кожаный мешок свой подле козел – и дилижанс покатился. А Лиров остался в Черной Грязи.

Глава VII. Евсей Стахеевич действительно поехал в Петербург

И потому еще нехорошо угадывать наперед в заголовке каждой главы рассказа содержание ее, что не всегда угодишь да утрафишь; шестую главу, например, поместили мы: «Евсей Стахеевич поехал в Петербург», а выходит, он не поехал, а сел в Черной Гязи; поедет же, коли поедет, – в седьмой.

Евсея в нынешнем безотрадном, истинно отчаянном положении его безотчетно тянуло в Москву, и он бы, верно, отправился туда по способу малиновских прачек и кантонистов; но что будет с Корнеем Горюновым? Евсей просил зрителя убедительно сказать ему, если бы ночью пришла сидейка, но получил ответ, что сидейки останавливаются на селе у ямщиков и что укараулить их трудно. Оказалось также, что все знакомство Иванова со зрителем Черной Гязи ограничивалось тем только, что Иванов занял у него в наемный проезд свой полтинник и теперь отдал в уплату долга отнятый у Лирова колокольчик.

Чтобы не терять времени по-пустому, Евсей пустился думать, прохаживаясь по Черной Гязи; потом, опомнившись, пошел добиваться толку у ямщиков, где пристают сидейки; потом, не добившись толку, потому что сидейки разных хозяев приставали в разных дворах, пошел опять думать. Так время шло незаметно между делом и бездельем, и, судя по известной пословице, Евсей Стахеевич разве от этого только не сошел с ума, потому что положение его было в самом деле крайнее. Он заложил уже у содержателя гостиницы часы свои, которых Иванов, видно, не доглядел, и все еще не знал, как, где и когда сойдется с верным своим Корнеем.

На третье утро Лиров сидел на крыльце и думал: «Так, так! Я знаю, что я бедовик, и знаю, что мне суждено, может статься, для назидательного примера другим терпеть и пить горькую чашу весь свой век. Чем же я провинился и за что все это валится на мою бедную головушку? Говорят, в Испании или Португалии во время народных зрелищ в театрах бьют негра палкой по голове, чтобы сосед его, дворянин, оглянулся, и тогда говорят этому вежливо: «Извольте

сидеть чинно». Может быть, и я родился на свет, чтобы служить таким же назидательным примером для других. При всем том – нечего делать, мне не учиться стать терпеть; выждем конца; любопытно увидеть, чем все это кончится, какие искушения суждены еще бедному потомку воронежского скорняка и какими путями приведет его судьба на общую сборную точку бедовиков и баловней своих, в этот знаменитый ларец Фамусова ^[27], на свидание... да с кем?»

Так размышлял Лиров на свободе, носился от нечего делать, закусив повод, и смирялся поневоле, как еще один дилижанс прибыл из Петербурга же в Черную Грязь... Глядя на расторопного кондуктора, который званием и мундирным сюртуком своим рождал неприятные для Евсея воспоминания, он услышал, что тот осведомлялся, когда прошел дилижанс № 7 и не было ли там Лирова? Этот встал, подошел и к неизъяснимой радости своей получил записку от Корнея Власова. Горюнов писал чужою рукою, потому что был безграмотен, вот что:

«Ваше благородие, Евсей Стахеевич! Связались вы, сударь, бог весть с кем, а старика своего и верного слугу покинули на распутье. Обманул он меня, обманет и вас. А на сидейку в Чудове не приняли меня по записке его: говорят, мы его и знать не хотим, а заплатить двадцать пять рублей я не посмел, так отправился за вами пешком, а чемодан и вещи все покинул в Чудове у смотрителя, в чем и взял с него расписку, что не станет требовать за это с вашего благородия ничего, а взял по своей воле, из чести. Так уж побойтесь бога да обождите меня, старика, а мне вас, сударь, не нагнать: и ноги не те, да и спина не служит; либо уж накажите кому-нибудь под Москвой на последней станции, либо оставьте записку, где наша будет фатера. Москва не Малинов, и таких, как мы с вами, сударь, там много. А деньги ваши все целы; несусь с собою, чай по ним соскучились; да не сказывайте, сударь, никому об деньгах, чтобы меня, старика, какой-нибудь гуртовщик за них не уходил; затем остаюсь вашего благородия – и прочее».

Вот какую весть свежий дилижанс привез Лирову; легче ли стало ему от нее? Что тут было делать и как быть? Чемодан и вещи в Чудове – Корней Горюнов бог весть где, тащится с деньгами пешком, а Евсей Лиров в Черной Грязи, в долгу как в шелку... Искать Корнея – так как бы с ним не разминуться; сидеть тут – долго просидишь, покуда старик отмеряет без малого пятьсот верст; что тут делать? Евсей наконец решался было уже раза два ехать назад искать старика своего, да за малым дело стало: и часы уже почти проел без хозяйки и казначея своего, а ни ехать, ни даже пешком – не с чем. Так просидел Евсей еще три дня; три дня в таком положении стоят иных трех лет; не ручаюсь, чтобы Евсей, при всей беспечности своей и уносчивости воображения, не поседел на двадцать восьмом году от роду, если просидит тут еще с неделю.

Но где нужда, тут и помощь; и удивляться этому, как делают многие, вовсе не из чего, потому что без нужды не может быть и помощи. Из Москвы ехал один из благородных, доблестных по сердцу бояр наших в Питер; ехал с семьею и нанял целый дилижанс. Прибыв в Черную Грязь, узнал он через сострадательного зрителя о положении Лирова, выпросил его в подробности, пожалел и сжалился над ним от души, хотя в то же время не мог удержаться и от смеху, за что, впрочем, добрый Евсей вовсе не гневался. Затем боярин выручил бедовика нашего из тисков: уплатив незначительные долгишки его, предложил он ему место в дилижансе своем, и Евсей тем охотнее воспользовался снисходительным предложением, что почтенное семейство ехало медленно, со всеми путевыми удобствами, постоянно останавливаясь для ночлегов; поэтому опасность объехать Власова и разминуться с ним значительно уменьшалась. Лирову указали было место в самой карете, рядом с воспитательницею, или так называемую гувернантку; но он испросил позволения сесть на порожнее открытое место впереди, потому что ему отсюда гораздо половчей было окидывать глазом всю дорогу впереди и стеречь своего дядьку. Лиров был весел, доволен и совершенно счастлив. Благодарное сердце его таяло в беспредельной признательности к этому благородному семейству, которое, удостоив Лирова однажды своего покровительства, обходилось с ним уже как с родным и почти успело его уверить, что одолжение тут было на его стороне, а не на их.

На одном из перегонов, неподалеку Вышнего Волочка, рано утром Евсей Стахеевич, как делал это уже во весь путь, не спускал глаз с бесконечной, по шнуру отбитой дороги, как вдруг закричал таким диким голосом, что все спутники и спутницы его вздрогнули. Дилижанс остановился, и – Корней Горюнов стоял, сияв шапку, и глядел недоверчиво на рыдван; потом вдруг смуглая, старая, поношенного товара рожа его прояснилась красным солнышком, и он, узнав барина своего, не мог надивиться, нарадоваться, наговориться. Лиров хотел было тут же вылезть и откланяться, заговаривая несвязно о вечной благодарности, но его попросили сесть теперь в карету, а старика усадили на передок. Горюнов так радовался неожиданной развязке этой, что забыл все прошлое горе свое, забыл, сколько бедовал и горевал на пути своем, и, сидя рядом с проводником, рассказывал ему уже, как он, бывало, в полку, когда молодые ребята, измаявшись на тяжком переходе, начнут отставать, брал по ружью на каждое плечо, по ранцу на грудь и на спину и с присвистом пускался вперед по дороге вприсядку.

– Вот, – говорит Корней, – каков я был; послужил я в свое время богу и великому государю; бывало, кто отстанет ли, нет ли от рядового Первой мушкатерской роты Корнея Горюнова, а Корней Горюнов уже от других не отстанет. Теперь не то: одолела поясница.

Воспитательница, с которою сидел теперь Лиров, была, к удивлению его, русская, женщина умная и образованная, бывшая воспитанница одного из благодетельных казенных заведений наших. Кто бы тогда подумал, что маловажное обстоятельство это, то есть что Лирова посадили в карету, и именно на это самое место, независимо от спутников и милой соседки его, будет для него собственно так важно и богато последствиями?

Вельможа дорогою познакомился с Лировым поближе, спознался с ним и, узнав нужды, виды и желания его, обещал ему в самых скромных выражениях свою помощь. Лиров возносился уже на седьмое небо, с совершенною доверенностью к новому счастью своему, когда случилось вот что.

Доехав еще засветло до рокового Чудова, где Лиров принял в целостности все вещи свои и, несмотря на расписку, представленную Власовым, отблагодарил услужливого смотрителя тороватым полтинником, покровитель Лирова решил ехать далее, потому что

погода была очень хороша и ночь светла; а как прошло уже от известного нам похождения в Чудове две недели, то луна была на прибыли. Поехали. Евсей, колыхаемый зыбкими пружинами колымаги и упоительными грезами услужливого воображения, заснул на полпути до Померанья, спал сладко, натешился и упился досыта какими-то удивительными и небывалыми снами и вошел в Померанье в гостиницу с намерением опохмелиться, как русский человек, после этой неумеренной, разгульной пирушки. Выпив полбутылки меду, Евсей воротился впотьмах с какою-то самодовольной улыбкой благополучия на устах и, почти не разводя обремененных блаженными грезами век, полез опять в дилижанс на свое заветное местечко, приклонил головушку на правую сторонушку, и как ему показалось, что спутница, отделенная от него только на ширину сиденья переборкою, почивала, то он, продолжая жмуриться и щуриться, сидел тише воды, ниже травы. Дилижанс скоро покатыл, и Евсей, который никогда еще не был так близок к конечному исполнению своих надежд и желаний, мечтал и уносился бог весть куда, когда, услышав вдруг людской говор и лай собак, раскрыл глаза и увидел, или, лучше сказать, ничего не увидел, потому что молодая луна уже закатилась и он сидел в непроницаемых потьмах. Но вслед за тем блеснула какая-то зарница и мелькнуло видение, от которого Евсей, в сладостном изнеможении не смея пошевелиться, сидел или почти лежал, как разбитый параличом. С полминуты спустя – еще раз то же: его обдало зарницей; Евсей быстро раскрыл глаза и успел еще уловить мельком, на лету, то же самое неизъяснимо милое видение, которого и самый след исчезал скорее молнии.

Перед сомкнувшимися очами Лирова играли во мраке какие-то вьюны и змейки из едва видимых точек; бахромчатые кисти распускались багровым маком и изумрудными махровыми цветками, между тем как Евсей, не смеядохнуть, старался сообразить; что такое с ним случилось? С полгодинины [\[28\]](#) сидел он как дряхлый старик, с онемелыми членами; наконец опомнился, приподнялся, перевел дух тихо и протяжно, глядел во все глаза и во все стороны – и ничего не видел, ничего не понимал. Все это ему казалось так странно, так непонятно, что он долго еще сидел с открытыми глазами, прислушиваясь к однообразному стуку колес и крику ямщика. Заметив, что соседка его не спит, решился он сказать ей что-нибудь и

с тем вместе убедиться, жив ли он еще или по крайней мере не спит ли и сам и не видел ли то, что видел, во сне?

– Так вы, сударыня, воспитывались в Смольном? – спросил он голосом провинившегося школьника, и, кроме того, очень кстати.

– Нет-с, в Патриотическом институте ^[29], – отвечал робкий, но послушный голосок.

Лиров приподнял брови и уши почти на самую макушку, глядел на невидимку во все глаза и опешил вовсе. Голос чужой и незнакомый и вовсе не тот, которым говорила обыкновенно милая его соседка, воспитанная, как он давно уже знал наизусть, в Смольном. Бедный Евсей сидел в этом положении несколько минут и наконец опять решился спросить:

– И давно вы уже оставили это заведение?

– Шестого числа будет семь месяцев, – отвечал тот же несмелый и покорный голосок.

Евсей опустил руки, поднял вверх голову, прислонился к заспинке и в этом положении сидел, уже решительно не смея дохнуть, до самого Чудова, где над ним совершалось уже второе чудо. Какое же второе? – спросите вы. Да разве это не чудо, что, выехав из Чудова, он опять воротился в Чудово? Дилижанс остановился, подали фонари, и Лиров увидел, к величайшему изумлению своему, что двери рядом с ним растворились и что вышел оттуда – тот же самый мужчина со звездой, который с лишком за две недели на этом же самом месте насмешливо спрашивал спутниц своих: «Не попросить ли этого товарища в карету?» Так часто мы пророчим на свою голову, так часто сбывается неожиданное, неправдоподобное; невозможное вчера, а сегодня сбыточное и вероятное! Думал ли человек со звездой, что через две недели этот неказистый чудака в изношенном сюртуке своем действительно будет сидеть в одном с ним дилижансе, который был взят им весь и, следовательно, принадлежал ему, звездоносцу, исключительно? Думал ли это и сам Евсей? И наконец, думал ли он же, когда сидел в Малинове и водил нерешительно пальцем по карте между Москвою и Петербургом, что ему суждено будет скитаться на самом деле, и не пальцем только, а всею особою своею, несколько недель сряду туда и сюда и наконец не побывать ни в Москве, ни в Петербурге?

Глава VIII. Евсей Стахеевич поехал в Москву

Увидев человека со звездой и вовсе незнакомого кондуктора, который высаживал этого большого барщина под руки, услышав еще, как звездоносец, оборотись к дверям, откуда вылез, сказал, взглянув на часы: «Мы с рассветом будем в Спасской Полести», – Евсей прижался в угол, с нетерпением выждал только, чтобы кавалер звезды и проводник отошли подальше от кареты, отворил сам дверцы свои, выскочил и отбежал, не оглядываясь, шагов на сто; потом остановился он и начал опять медленно подходить, как посторонний человек, который любопытствует посмотреть на новоприезжих. Евсей вглядывался и всматривался, сколько темнота ночи позволяла, в дилижанс, в окружающих его людей, в почтовый дом, в кондуктора, в смотрителя и убедился наконец, что опять стоял в Чудове; дилижанс, в котором он приехал, отправлялся в Москву; женщины не выходили, но ведь он видел сам – во сне или наяву? – видел два раза мельком ту же ангельскую головку, которая озадачила его уже раз здесь же, в Чудове, и потом опять являлась ему в грезах, за киотами, в покоях разных степеней его служения; мужчина же был явно тот самый, который, проезжая Чудово недели две тому с лишком, повстречал здесь Лирова и обошелся с ним так по-господски – и еще, помните? похитил в глазах его эту ангельскую головку, закинутую немного назад, когда разглядывала она луну на ущербе, а Лиров в то же время расположился еще, как противень или дружка, рядом с верстовым столбом. Успел ли, нет ли наш бедный Евсей доследиться до горестного для него заключения, что он сел в Померанье не в свои сани, во встречный дилижанс, на случайно порожнее место, которое с левой стороны, то есть то же самое, которое досталось ему по отводу в дилижансе московского покровителя его; не успел он, говорю я, сообразить все это, как кавалер звезды сел уже снова в карету, и она покатила на Спасскую Полесь. Тогда только, и то исподволь, густой туман в голосе Стахеевича стал понемногу проясняться. Бедовик наш, догадавшись, в чем дело, счел уже почти излишним удивляться этому довольно странному приключению, убедившись

только еще положительнее, что норовистая судьба также нашла дорогу из Малинова до московской дороги, на которой теперь снова так жестоко и неотвязчиво преследовала свою игрушку.

«Что я стану делать, создатель мой? – подумал Евсей, сложив руки, повесив голову и стоя впотьмах на распутье. – Что я стану делать? Здесь, в Чудове, мне нельзя и показаться: подумают, что я рехнулся; да притом зачем и к чему показываться? Что мне здесь делать, чего искать тут? А что между тем подумает благодетель мой и как разгадает, куда я девался? И что теперь делает мой Власов и где он? Ну что, если его увезли в Питер, а я опять остался с двумя двугривенными, из которых, может быть, один даже пятиалтынный?»

Так бродило долго в голове Лирова; десять раз подходил он украдкой к почтовому дому и глядел на сальный огарок в окно; наконец рассудил однако же, что не сидеть же в Чудове в ожидании третьего чуда, поглядел вокруг, вздохнул и отправился по образу пешего хождения вперед, в Померанье.

Он шел, заложив руки в карманы, повесив голову, потупив очи, потому что смотреть впотьмах было не на что, думал и наконец стал вовсе в тупик; остановившись, поднял он голову, начал припоминать видение свое, и дрожь пробежала по всем хребтовым позвонкам его, как неразумные пальцы какого-нибудь малоумного по костяным клавишам фортепьяно. Евсей помотал головой, пожал плечами и пошел вперед. Теперь только ему пришло в голову, что он мог бы по крайней мере справиться у проводника, кто таков этот загадочный сановитый кавалер звезды и какие с ним едут барыни, а следовательно, и узнать... Но глубокий и трепетный вздох остановил дерзкую думу эту, и Евсей опять уже был готов сойти с ума при одной мысли о неизъяснимом видении своем.

А видение это явилось так просто, так естественно, как делается все на свете; и Лиров так же точно плутал, как люди обыкновенно делают при подобных случаях. В дилижансе, изволите ли видеть, против каждого места приделано зеркало; проезжая в темную ночь селение, свет из окна избы иногда ударяет прямо в зеркало против вас: тогда обдает вас зарницей, и если вы вовремя взглянете в зеркало и приняли притом надлежащее положение, то можете увидеть призрак вашего соседа, отделенного от вас только полупереборкой; а если сосед этот или соседка бесконечно мила и дремлет, закинув головку

на подушку и разметав кудри свои, то все это явится вам и в видении, которое промелькнет только молнией и исчезнет. Если вам случится ехать в таком зеркальном дилижансе, то можете испытать все это на деле. Итак, Евсей сидел рядом с существенностью этого видения; просидел рядом в темную ночь и глаз на глаз часа три и успел только узнать, что она институтка и что шестого числа будет семь месяцев, как она увидела свет – не в том смысле, как говорится это о новорожденном, не лучи солнечные, а мир, то есть не тишину и спокойствие, а, напротив, суету светской жизни, пыль, дым и чад. Да, всего этого не знала и не ведала она, когда сидела неоперившимся птенцом, в пушку, под заботливым крылышком своей доброй *tatam* в Патриотическом институте на Васильевском острове, против Морского кадетского корпуса, где прозябали и мы когда-то давно, – а русская пословица старого поминать не велит. Итак, Лиров только это и узнал и в продолжение таинственной поездки своей больше ничем не воспользовался.

Между тем Евсей все шел да шел и все думал – и наконец сказал вслух:

– И возможно ли, сбыточное ли это дело, чтобы я просидел с нею рядом, целую ночь и догадался и узнал об этом уже тогда, как тащусь голодный, и усталый, и измученный целый перегон пешком и с каждым шагом вдвойне от нее удаляюсь! Неужели все это истина и я не сплю, не во сне, не в бреду и не сошел с ума? Или весь свет оборотился вверх дном и обрушился на меня, бедовика? – Это проговорил он вслух, да некому было подслушать его: все вокруг мертво, темно и тихо!

Да, Евсей Стахеевич, если бы вы подстерегали, что теперь говорит верный слуга и сподвижник ваш Корней Власов, так вы бы опять присказку его применили к себе, как намедни, когда он, ломая из себя кирасира, подбоченился и кричал презрительно: «Не пылить, пехота, не пылить!»

А Корней Власович, сидя в раздумье в Померанье и рассуждая о том, что он потерял барина своего и что не надо было пускать его ни на шаг, ни на пядь от кареты, что так всегда русский человек бывает крепок задним умом, прибавил еще к этому вот что: мужик видел во сне горячий кисель, да не случилось ложки, нечем было похлебать; на другую ночь мужик догадался, лег спать да взял с собою ложку, так

уже не видал киселя. И вот эту-то присказку Евсей Стахеевич применил бы теперь, может статься, к себе, если бы ее услышал. Но присказка говорилась с вечера, а Лиров пришел уже в Померанье, выбившись почти вовсе из сил, часу в десятом утра; смотрит, у подъезда, где всегда становятся дилижансы, все пусто, ни колеса, ни полоза; один только Корней Горюнов сидит, подгорюнясь, на крыльце почтового дома и вздыхает тяжело и глупо, будто везет на себе воз сена, и охает и крестится, поминая без вести пропавшего барина своего, с которым, то есть с пропавшим, не знал, как быть и что делать.

Лиров узнал, что дилижанс ушел уже с рассветом; боярин, принявший такое родное участие в судьбе Евсея, очень по нем заботился и беспокоился, прождал до рассвету, рассылал верховых во все стороны, но наконец, рассудив, что человек в своем уме не может же провалиться сквозь землю, и выслушав рассказ Власова, что барин его и наемни выкинул было такую же штуку, отправившись ни с того ни с сего пешком в Грузино, – сказал: «С таким чудаком, а может быть, и полоумным, мудрено будет справиться, да и ждать его мне, право, недосуг», – и затем уехал. Корней Горюнов, теряясь в догадках, рассказал, правда, для примера быль, что у них в полку солдат пропал было без вести, да отыскали его в передней на лавке, где он был завален с ног до головы шинелями; он был хмелен, говорит Власов, да прилег, его впотьмах и завалили; но пример этот не слишком утешил нашего боярина, который думал еще, может быть, видеть в этом намек на незнакомую ему доселе слабость Лирова. Вот как наш Власов поправляется из кулька в рогожку и вот что называется по-русски: простота хуже воровства.

Лирову стало так совестно перед благородным человеком, которому был столько обязан, так совестно, что он уже никак не мог решиться ехать за ним вслед в Петербург; Евсею казалось, что происшествие это должно было, как блаженные памяти во граде Малинове, наделать в столице столько шуму и тревоги, что его, Лирова, верно ожидают уже у Московской, в Петербурге, заставы и от самой заставы этой по всем улицам и переулкам будут встречать и провожать любопытные с намешливой улыбкой и поклонами. Сверх этого, как показаться на глаза благодетелю своему и опять как, будучи в Питере, не показаться? Словом, он из этой ловушки не видел

лазейки и, несмотря на волчий голод свой, принялся за поданный ему завтрак в самом отчаянном расположении духа. Смотритель, как человек опытный, наглядевшийся на проезжих всякого покроя, тотчас угадал, что этот не погнушается вступить с ним в беседу; подсел, начал мотать разговор на свой лад и, рассказавши, что прослужил в незапамятные времена девять лет вахмистром, что был потом в Москве квартальным поручиком, поймал в 1812 году семь возов миродеров, то есть мародеров, с семьёю возами клади, что за это не поровну досталось, а кому чин, кому блин, а ему, квартальному поручику, клин; что он, не клин то есть, а квартальный, был во всех сражениях и в разных командировках, не раз жизнь терял и прочее и прочее, – нашатнулся случайно опять на беду бедовую Евсея Стахеевича и никак не мог понять, каким образом это могло приключиться такое происхождение, – и в десятый раз стал допытываться: «По знакомству ли Евсей Стахеевич пересел в другой дилижанс или от погрешности?» И Лирову теперь только вошло в голову спросить смотрителя, не знает ли он, кто таковы были проезжие, к которым бедный Евсей подсел незванным гостем.

– Кому же знать, коли не нам, – отвечал смотритель самодовольно. – Генерал этот высокородный, по-нашему, по-старинному, бригадир, а по фамилии прозывается он господин Оборотнев. Уж он вот на одном месяце другой раз взад и вперед проехал, видно по делам каким; а он, говорят, опекуном у барынь этих, да никак еще и жених, как сказывал намерении человек его, так с ними вот все и ездит.

Долго мялся и таился Евсей, но наконец, раздумав и рассудив основательно, что чин и прозвание опекуна и жениха никак не могут вести к заключению о звании и прозвании опекаемых, то есть находящихся у него под опекою, решился, да, решился налить полный стакан квасу, поднести его вплоть ко рту, спросить скороговоркою, упершись глазами в стакан: «А кто таковы барыни эти, вы, чай, не знаете?» – и вслед за этим осушить бычком, без расстановки, весь стакан. Когда же смотритель объявил с прежним самодовольствием, что это была помещица Голубцова с дочерьми, – то я уже то неожиданное обстоятельство, что стакан не выкатился из рук Лирова и не расшиб стоявшей под ним тарелки, приписываю тому, что преследующая Лирова злая судьба едва ли не натешилась над

бедовиком нашим досыта и едва ли не хочет уже ныне исподволь над ним смиловаться. В самом деле, удивление Лирова, изумление, испуг и поражение его были свыше всякого описания; Евсей так быстро изменился в лице, что даже и смотритель привстал со стула своего и не договорил последнего слова. Лиров повторил тот же вопрос, едва не заставил старика смотрителя присягнуть, не только побожиться, дал ему за неожиданную и, по-видимому, добрую весть целковый; потом походил взад и вперед по комнате, схватил с карниза печки лучинку, остановился, разглядел ее пристально, будто еще колебался, как с нею быть; лицо его загорелось; в нем сильно выразился переход к какой-то геройской решимости: быстрым и сильным движением рук Евсей переломил заветную лучинку надвое, развел концы, поглядел на них, кинул и вдруг объявил с твердостью, которая совсем к нему не шла, что он едет назад, в Москву. Вслед за тем начал он торопить смотрителя, преследуя его шаг за шагом, пуще всякого фельдъегеря. Смотритель, повторяя на ходу: «Сейчас, сейчас», поглядывал искоса на Лирова, как глядят на человека, у которого на вышке обстоит неблагополучно или по крайней мере сомнительно, а красноречиво могучее: «Пустяки, сударь», которым Корней Горюнов хотел угомонить и озадачить барина своего, ударило как горох в стену и не удостоилось даже ответа. Это, в свою очередь, озадачило и сбilo с толку Власова; получив повторительное приказание укладываться, он уже не нашелся, особенно когда серые вопросительные глаза его встретились с положительным ответом темно-карих очей Лирова. Власов, вздохнув, вышел укладывать амуницию барина в повозку и ворчал при этом вслух: – Вяжи да путай, верти да кутай, мотай да плутай – авось до чего-нибудь доездимся. Пожалуй! Мне все равно: я не пропаду, завези меня куда хочешь; да уж пешком не пойду его искать в другой раз по белому свету, хоть тони, хоть гори! – И в сердцах выкинул порожнюю бутылку от килиановской примочки, чего бы в полном и здоровом уме своем, конечно, никогда не сделал. Видно, оба они повихнулись: и хвост и голова, и барин и слуга, или оба добились до ума.

Телегу подали, Евсей сел, поскакал и гнал и в хвост и в голову.

Глава IX. Евсей Стахеевич до чего-нибудь доездили

Поведение Лирова перед отъездом его из Померанья в самом деле было очень странно. Что какая-нибудь нечаянная и неожиданная весть его изумила, что он, опомнившись и сообразившись, вдруг решил ехать назад и догонять во что бы ни стало дилижанс, из которого сам накануне выскочил и бежал как от огня, – все это еще понять и объяснить кой-как можно; хотя при всем том весьма сомнительно, чтобы он догнал на шестистах верстах дилижанс, который ушел уже верст за сотню вперед; но что значит гаданье это или ворожба на лучинке, и можно ли было предполагать в Лирове, с которым мы ознакомились уже довольно коротко, такое ребячество или суеверие? Но об этом после; поспешим теперь за Лировым: он скачет сломя голову, и если мы от него отстанем, то, может быть, нам так же трудно будет догнать его, как и ему теперь ушедший от него таинственный дилижанс.

Корней Горюнов молчал или ворчал про себя и дал барину своему уходить, проскакав с ним во всю ивановскую без одной двадцать станций, то есть до самого Клина, и дивился только и смотрел, откуда взялась рысь! Прежде, бывало, коли Власов не придет доложить, что лошади готовы, так барин просидел бы да продумал бы, пожалуй, хоть до вечера; а теперь – и мечется, и суетится, и упрашивает, и бранится, да еще и сорит деньгами; что это за диво? Этак, пожалуй, проскакать можно еще раз пяток от Клина до Померанья, коли хватит единовременного жалованья, да что ж в этом будет проку? На каждой станции Власов собирался требовать в этом ответ и отчет у барина своего; но этот был всегда так неусидчив и недосужен, что ни разу не дослушал и половины предисловия Власова, когда этот подходил, прокашлявшись, и начинал: «Евсей Стахеевич! Служил я верой и правдой царю государю своему двадцать пять лет...» или: «У нас, сударь, в полку был...» и прочее. Поэтому Власов заглянул еще раз в бумажник и в кошелек, решил и положил, что барину его Клином пришелся, чтобы тут кончить и развязать дело во что бы то ни стало. А потому, когда Евсей лег потянуть разбитые хрящи и кости

свои на столь знакомый всем проезжим кожаный диван, на котором днем можно еще лежать довольно безопасно, то Власов, проворчав предисловие свое на дворе и на крыльце, вошел и начал прямо с дела так:

– А что, сударь, Евсей Стахеевич, долго мы будем еще этак ловить черта за хвост, гоняться без толку промеж Питера и Москвы, словно нас кто с тылу же-галом ожег?

Лиров. Недолго. Поди спроси, давно ли проехал дилижанс с Оборотневым.

Власов. Чего, сударь, спрашивать, помилуйте, да он давно в Москве, и ямщики все говорят и смотритель говорит, что давно в Москве. Власть ваша, Евсей Стахеевич, а это, сударь, пустяки, ей-богу пустяки!

Лиров. Не ворчи же, старый хрыч, ты мне надоел; вот тебе полтинник, поди выпей да ляг в телегу и спи.

Власов. Не видал я, сударь, вашего полтинника! Да я, сударь, украду его у чужого человека, а от вас не возьму даром; полтинник! Да вы, сударь, уж семнадцать рублей с полтиной моих проездили, так что мне полтинник ваш!

Лиров. Как – твоих проездил!

Власов. Да так, сударь, проездили, да и только. Я еще в Твери докладывал вам, что деньги все, а вы знай молчите; что ж я стану делать? Тут дело дорожное, помечать негде, а уж я их не украл, мне вашего не надо. Тут, вы думаете, по-нашему? Нет, сударь, двугривенный за миску щей, а щи хоть портянки полощи, да еще и хлеба не дает, собака, и никому даже не уважает!

Лиров. Как все, братец? Неужто – не деньги – мелочь, а что было в бумажнике – неужто они все?

Власов. Да вот он, сударь, бумажник: извольте считать, много ли найдете! У меня своих никак рублей со сто шестьдесят наберется – и будем ездить, поколе до чего-нибудь не доездимся; ваша власть.

«Кой черт, моя власть», – подумал Лиров, вскочил с дивана и принялся ходить по комнате. Да, подлинно, в Клине ему свет клином сошелся, в Черной Грязи посидел он в грязи; одно только Чудово озарило его чудом, да и то не знает еще, чем оно кончится и куда потянет, не то опять в грязь, не то на чистую воду, – а Евсей, чай, боится и того и другого.

Евсей наш думал, думал – и ничего не выдумал. «Теперь уже все равно, – рассудил он наконец, – торопиться некуда, уж я их не нагоню; переночую, подумаю – а видно, нечего больше делать, как пуститься искать их по Москве. Искать! А где искать? И чем доехать и чем там прожить?» Стало смеркаться. Евсей не смел спросить и чаю, а велел подать стакан воды. Власов поставил его на окно и вышел, а барин его, походивши, хотел выпить воду эту, да хлебнул фонарного масла и чуть не подавился поплавком ночника, который был устроен в стакане же и стоял на окне рядом со стаканом воды. Евсей выплюнул, запил водою и пошел на крыльцо; а здесь одна из почтовых красавиц, поигрывая, как кошка в сумерки, лукнула поперек крыльца в ямщиков метлой, и бедный Евсей, подвернувшись, не успел даже закрыться от нее рукой. Изо всего этого Евсей заключил, что недобрый, который обошел его, видно, при самом рождении, все еще его не покинул и что надобно, собравшись с духом, выждать конца, утешаясь поговоркою наших калмыков, которые говорят в таком случае только: «Что делать, она его так не будишь, она его как-нибудь да будишь». Евсей знал по опыту, что всякая большая беда сказывалась ему наперед бездельными досадами и неприятностями и, наоборот, всякое несчастье отзывалось еще несколько времени докучливыми мелочными перекурами; поэтому он и был уверен, что все это делается теперь или на новую беду, или в помин старой, которая выпроводила его в недобрый час на московскую большую дорогу, протаскала взад и вперед, туда и сюда и наконец отвела самый бестолковый ночлег в Клине, заставив издержать преждевременно все поскребыши своей казны. А если бы Евсею теперь вздумалось сделать заем, то, верно, пришлось бы, по примеру Испании, обеспечить заем залогом и платить еще сорок девять со ста.

Перед светом прибыла на станцию из Москвы коляска с каким-то камер-юнкером, и Евсей, проснувшись от возни и стуку, узнал в прислуге проезжего приятеля и сослуживца своего, отставного писца, а ныне отставленного кондуктора дилижансов Иванова. Лиров притворился спящим, но этим не отделался; Иванов облобызал его сонного, подсел и заговорил до смерти. Не станем повторять вслед за ним всех пошлостей, уверений в любви и дружбе, обещаний ходатайства в обеих столицах, а наконец, и простодушного предложения, не угодно ли выкупить теперь плащ свой, – а перейдем

к главному: Иванов истязал и мучил бедного Евсея до того, что этот, сколько ни отмалчивался, как ни отнекивался, а наконец высказал ему таки, что едет в Москву отыскивать Голубцову.

– Голубцову? – спросил Иванов. – Помилуй, братец, да она уже бог весть где: она теперь уже в Крыму.

Лиров за словом отворотился от приятеля своего и замолчал, но тот преследовал его сыщиком, цеплялся за него репейником, увивался около него вьюном.

– Да как ее зовут, Голубцову твою? – спросил он наконец, повторил вопрос свой сто раз, не отвязывался, не отставал, так что Евсею уже ничего не оставалось, как отвечать, что ее зовут Марьей Ивановной.

– Ну, так и есть: чему же ты дивишься тут, я не понимаю, – продолжал Иванов, – коли я тебе говорю наверное, что Марья Ивановна Голубцова уехала с дочерьми своими в Крым?

– Да помилуй, братец, она только что приехала из Петербурга, может быть вчера, не прежде!

– Ну да, знаю, и прямо проехала в Крым. Чему же тут удивляться? Да коли не веришь и коли обстоятельство это для тебя важной относительности, так спроси поди вот у моего камер-юнкера, с которым я поехал по пути; он знает ее и знает, что она уехала в Крым.

Обстоятельство это было для Лирова точно важной относительности, говоря языком Иванова; и Евсей решился узнать лично от камер-юнкера, не врет ли попутчик его.

– Какая Голубцова? – спросил тот. – Я, сколько помню, не знаю и не знавал ни одной.

Иванов подскочил, сорвал с головы кожаный картуз свой и пояснил:

– Та самая, ваше благородие, что еще на фоминой неделе [\[30\]](#) приезжала просить, чтобы выхлопотать наскоро отпуск племяннику, который служил у Ивана Петровича, – извольте припомнить, в черном платье, – я на ту пору случился у вашего высокородия с извещением об отбытии дилижанса.

– А, помню, – сказал камер-юнкер, – да я только не знал, как ее зовут. Да, она и просила об отпуске племянника в Крым. Помню.

«Коли так, – подумал Лиров, отступая почтительно и повиснув карманом своим на дверной ручке или на ключе, – коли так, то, видно,

я до чего-нибудь доездили, как пророчил мне Власов». И, насили распутив карман свой, насмешил камер-юнкера и пошел себе опять думать. Ему и в голову не пришло спросить камер-юнкера, когда именно женщина в черном платье уехала с племянником своим в Крым; Евсей услышал бы, что этому уже три или четыре недели, а следовательно, Иванов врет начисто; но Евсея весть эта так озадачила, что он пошел ходить и думать обо всем на свете, только не о деле. «Судьба, – подумал он, – это одно пустое слово. Что такое судьба? В зверинце этом, на земле, все предварительно устроено и приспособлено для содержания нашего; потом мы пущены туда, и всякий бредет куда глаза глядят, и всякий городит и пригораживает свои избы, палаты, чердаки и землянки, капканы, ловушки, верши и учуги, роет ямки, плетет плетни, где кому и как вздумается. Кто куда забредет, тот туда и попадет. Мир наш – часы, мельница, пожалуй паровая машина, которая пущена в ход и идет себе своим чередом, своим порядком, не думает, не гадает, не соображает, не относит действий своих к людям и животным, а делает свое, хоть попадайся ей под колеса и полозья, хоть нет; а кто сдуру подскочил под коромысло, того тля по голове, и дух вон. Коромысло этому не виновато, у него ни ума, ни глаз; оно ходило и ходит взад и вперед, прежде и после, и ему нет нужды ни до живых, ни до убитого. Не для меня определяла контора дилижансов выжимки эти, Иванова, в проводники; не для меня его и протурила, чтобы он встретился опять со мною в службе камер-юнкера; не для меня Оборотнев оставил порожнее место в дилижансе своем, а я его занял сам; я влез в галиматью эту, проторил себе туда колею, и покуда не выбьюсь из нее, не кинусь в сторону, вся беда эта будет ходить по мне; отойди я – и все это пойдет тем же чередом и порядком, да только не по моей голове. Поэтому судьба – пустое слово; моя свободная воля идти туда, сюда, куда хочу, и соображать, и оглядываться, чтобы не подставлять затылка коромыслу».

«А если и коромысло и вся махина – невидимка, – подумал про себя Лиров, – так что мне тогда в свободной воле моей и в хваленном разуме, коли у меня звезды-путеводительницы нет и я иду наугад? А если сверх этого, при всем посильном старании и отчаянном рвении моем, куда бы я ни кинулся, всегда попадаю на шестерню, на маховое колесо, под рычаг, на запоры и затворы или волчьи ямы? Тогда что,

тогда как прикажете назвать причину неудач моих и плачевной моей доли?»

«Я просто бедовик; толкуй всяк слово это как хочет и может, а я его понимаю. И как не понимать, коли оно изобретено мною и, по-видимому, для меня? Да, этим словом, могу сказать, обогатил я русский язык, истолковав на деле и самое значение его!»

Евсей все думал и все-таки опять не мог понять, как он просидел ночь напролет рядом с головкой в ките, в одной карете с Марьей Ивановной, и – и – и только. Но головка эта не давала ему покою: забывшись, он несколько раз обмахивался рукой и наконец проговорил в совершенном отчаянии: «Да отвяжись, несносная!» Но она, видно, отбилась вовсе от рук и не думала слушаться его, и Лиров прибегнул к крайнему в таких случаях, у него по крайней мере, средству. Он принялся записывать какие-то отметки на лоскутке; потом встал, вышел, завернул в бумажку эту камешек и закинул как можно дальше через тын. Хорошо, что никто проделки этой не видал: камешек угодил в окно соседней избы и расшиб его вдребезги. Когда стекло брякнуло, то Лиров, при всей честности своей, ушел без оглядки в комнату, потому что ему и заплатить за окно было теперь нечем.

Надобно пояснить эту загадочную проделку: она, извольте видеть, принадлежала к одному разряду с ворожбой на лучине. Если Лиров хотел окончательно и положительно решиться на важное для него дело, если он хотел, чтобы дело это было кончено и решено без всяких оглядок, решительно и положительно, то он брал прутик, лучинку, щепку и, вообразив себе, что перед ним в виде лучинки этой лежит нерешенное дело, вдруг с усиленным напряжением ломал ее или, еще лучше, рубил ее пополам; тогда, глядя на обломки или обрубки, он убеждал самого себя, что изменить решения уже невозможно, переделать дела нельзя, так же точно как никоим образом нельзя уже обратить в первобытное состояние расколотую щепку. Прибегнув к этому крайнему средству, Евсей уже был непоколебим, и даже многосильное «пустяки, сударь» Корнея Горюнова произносилось безуспешно. Если же у Лирова что-нибудь лежало слишком тяжело на сердце, удручало и мучило его, не давало ему покою, тогда он писал беду и горе свое загадочными словами на лоскутке бумажки и, собравшись с духом, напрягая воображение свое самым усиленным образом, бросал бумажку в огонь или закидывал так,

чтобы ее уже более не видать. Это, по основанному на опыте убеждению, помогало; Евсей воображал, что скинул ношу свою с плеч, что закинул ее и уничтожил. Что же, наконец, до разбитого окна, то это уже обстоятельство случайное, не входящее вовсе в предначертание кабалистики Лирова.

Камень с запиской наделал, однако же, в избенке много тревоги, даже независимо от разбитого окна; смотрителю принесли бумажку и просили прочитать; этот с величайшим трудом разобрал: «Головка твоя с плеч моих, аминь»; потом еще несколько таинственных знаков – и только. Бабы побежали за каким-то знахарем, который отчитывал порчу, потому что в этом только смысле могли попятить содержание записки. Легко вообразить, в каком страхе сидел, и вертелся, и прохаживался бедняк Евсей, покуда все это кончилось и успокоилось и никто его не видал и не выдал – не заподозрил и не подозревал. Итак, Евсей попал в кудесники; недаром по крайней мере он поворожил!

Глава X. Евсей Стахеевич в ожидании будущих благ сидит на одном месте

«У татарина, что у собаки, – души нет, а один только пар», – говорил Корней Горюнов, рассуждая с кем-то, и Евсей, пустившийся, как мы видели, от нечего делать в размышления и рассуждения, стал разбирать сам про себя: что такое душа? Он был уже очень близок к окончательному выводу, когда Власов задал ямщикам другую загадку: «Десять плеч, пять голов, а четыре души; десять рук, десять ног, сто пальцев, а ходит лежа, на восьми ногах; пойдет сам-пят, воротится сам-четверт, что за зверь?» Загадка эта мучила и пилила Евсея так, что он на время забыл даже неотвязчивую головку, которую закинул в окно соседа, забыл все, бился и маялся, но не хотел спросить объяснения у Корнея, который сказал бы ему, что это покойник, которого несут вчетвером в могилу. В таком положении мы можем на время оставить Евсея, потому что думы Стахеевича бывают иногда довольно плодovиты, а дожидаться конца их долго; итак, отправимся на час места в Маликов. Я, признаться, нарочно заставил Корнея задать барину сперва вопрос душесловный, а потом загадку: читатели увидели из этого, как легко Евсей наш уносился думою своею в любую сторону и как упорно увязывался за всяким предметом, за которым пускалось уносчивое воображение его.

И в самом деле! Что делают между тем малиновцы наши и каково-то они поживают?

Все слава богу, а происшествия были тем временем в Малинове разные – чем богаты, тем и рады.

Во-первых, тот самый коллежский ассессор, которого Лиров называл лошадью, отправился наместни куда-то, где продавались оставшиеся после умершего вещи с молотка. У лошади этой была похвальная, но не всегда уместная привычка походя спать; он весьма нередко засыпал, сидя где-нибудь на стуле или прислонившись к стенке, к печи. То же самое случилось и здесь; а когда стукнули в последний раз молотком, продажа кончилась, все начали шаркать, шуметь и расходиться, тогда Иван Фомич проснулся и спросил

поспешно: «А что я выиграл?» Он думал спросонья, что пришел на лотерею.

Во-вторых, в Малинове было подано явочное прошение о бежавшем, где было сказано: «В какой день означенный Колесников самопроизвольно и неизвестно отлучился, не учиня, впрочем, ничего противозаконного: кроме того, что на нем был поддевок серого сукна, шаровары полосатые да сапоги выворотные». А жировский городничий, вследствие требования губернского статистического комитета, отношением своим уведомлял, что по графе *нравственность* в статистических таблицах сделано надлежащее распоряжение, а именно: «Как оной нравственности в городе не оказалось, то и отнесено к исправнику, не окажется ли таковой в уезде». Отношение городничего было принято комитетом к *сведению*.

В-третьих, с Онуфрием Парфентьевичем, о котором Лиров говорил, что он похож телом и душою на вола, сыграли шутку. У Онуфрия был старый серого сукна сюртук, лет десять знакомый всем жителям Малинова. Сюртук этот по случаю нездоровья Онуфрия Парфентьевича провисел с неделю на вешалке. У Онуфрия был еще, кроме этого, какой-то племянничек, недавно прибывший в Малинов на попечение старика, вольно-шатающийся из дворян. Этот повеса, воспользовавшись отдыхом сюртука, намочил ему воротник хорошенько водою, посеял крес и поливал его очень прилежно два раза в день. Разумеется, что крес взошел, вырос, и в Малинове рассказывали, будто Онуфрий Парфентьевич сослепу не разглядел этого обстоятельства и явился в присутствие с кресовым воротником. Затем соображения мои и догадки повивальной бабки нас не обманули: дело относительно известного читателю хлебника или булочника пошло очень удачно, и у Перепетуи Эльпидифоровны был по этому случаю выход, где все поздравляли ее с вожделенным успехом и многие уверяли и божились, что посылают за сухарями всегда к ее только хлебопеку; почтмейстерше также досталось порядком за измятую наколку вице-губернаторши, тем более что торги на поставку вина были уже кончены, а наколка притом вовсе упущена из виду. Заметим мимоходом, что вице-губернаторша все наряды свои выписывала из Петербурга, потому что в Москве господствует какая-то пестрота и безвкусица. За это вице-губернаторша была решительно первая барыня в Малинове.

Далее, полицеймейстерша действительно разошлась с супругою первого члена межевой конторы; это было на гулянье под Каменной горой: полицеймейстерша пошла в одну сторону, а супруга первого члена – в другую. Более они не встречались, потому что полицеймейстерша наказала строго дочери своей Оленьке, чтобы она быстрыми плазенками своими следила неотступно супругу первого члена во все гулянье, и на другое и на третье, воскресенье тоже, и давала бы знать матери, если неприятельница угрожает с которой-нибудь стороны фланговым движением или нападением в тыл. Между тем, однако же, губернаторша, предвидя грозу, сказала шутя полицеймейстеру:

– Смотрите, Иван Осипович, чтобы у вас на гулянье сегодня не вспыхнул пожар.

Иван Осипович, вскочив с места, вытянулся в струнку и спросил не призадумавшись:

– А не прикажете ли, ваше превосходительство, привезти пожарные трубы? – и вследствие ответа рассмеявшейся губернаторши: – О, это, конечно, было бы гораздо безопаснее.

Малиновские пожарные трубы стояли смиренно, поникнув хоботом, на гулянье под Каменной горой и ожидали пожара. Это крайне забавляло и утешало гуляющих; все подходило поочередно смотреть и удостовериться собственными глазами, в самом ли деле Иван Осипович привез в ожидании пожара трубы свои на гулянье; было много хохоту и смеху, и все потешались исправностью своего городничего. Как бы то ни было, а трубы эти действительно предохранили вспышку и взрыв между двумя озлобленными неприятельницами: до обеих дошла стороною весть о назначении пожарной команды; и обе будто условились, кончили, как мы видели, тем, что разошлись в разные стороны. Говорят даже, будто полицеймейстерша прогнала было в город брандмейстера, но Иван Осипович, выезжая из городу верхом, встретил его, воротил и сам в полном параде привел на гулянье. Говорят также, что у Ивана Осиповича пожарная команда в самом деле в отличном состоянии, но что удачное ее употребление обыкновенно бывает, как и на сей раз, дело слепого случая.

Между тем часу в седьмом вечера в воскресенье же на вечернем толчке, на Малиновском рынке, толпилось довольно народу; кто

покупал, кто только приценился, кто продавал, а кто просто толкался, потому что вечерний базар, или толчок, этот настоящий, коренной источник всех новостей и слухов, составляет любимое гулянье значительной части Малиновского народонаселения. Если, например, губернатор думал ехать по губернии, то на малиновском рынке знали это уже тремя сутками ранее, чем в губернском правлении. Этого мало: на рынке знали иногда такие вещи, которые происходили накануне за пятьсот или тысячу верст; так, например, уверяют положительно, что весть о петербургском наводнении в 1826 году разнеслась по Малиновскому толчку, а потом и по целому городу на другой же день ввечеру. Каким образом это делается – объяснить не умею.

Итак, на вечернем толчке в Малинове стояла, словно долбленный резной истукан, торговка, обвешанная с ног до головы всякими проказами. На голове офицерская шляпа, на ней чепец, к нему приколоты с боков ленты, перчатки, косынки, на плечах валеные чулки и носки; в руках канарейка в клетке, изломанные счеты, Антенорово путешествие [\[31\]](#), вторая часть, а за плечами – знаменитые картины из романа «Павел и Виргиния» [\[32\]](#), четыре времени года, четыре возраста в лицах Малек-Адель [\[33\]](#); через руки перекинута шляпа, истасканные большие платки, до которых Малиновские барышни, извините за отступление, большие охотницы, потому что под большим платком не нужно застегивать шляпы; словом, на торговке этой было все как на украинской ярмарке Грицька Основьяненка [\[34\]](#), даже охотничья сумка через плечо и в сетке пенковая трубка и старый шандал.

Торговка эта стояла словно чучело и смиренно позволяла каждому прохожему перелистывать и разбирать разнородный товар свой, как подошла к ней пожилая женщина в довольно поношенном шелковом платье, в вишневых атласных башмаках, в простой бумажной большой косынке и в нарядном чепце, на котором широкие и плотные ленты явно изобличали подарок вице-губернаторши: по крайности знаток заметил бы, что ленты были не московские. Женщина эта поздоровалась с торговкой, назвала ее по имени и отчеству, рассматривала, так, из любопытства, товар ее и спрашивала о новостях. Судя по продолжительному разговору и по выражению бездушного лица, она забранными вестями и справками

осталась довольна. Простившись с торговкой, подняла она неказистую голову свою, начала оглядываться кругом, и, увидав в крытых дрожках Перепетуя Эльпидифоровну, которая, собираясь на гулянье, заехала сюда посмотреть, как идет пшеница ее, – женщина в атласных башмаках и в чепце вице-губернаторши стала кивать Мукомоловой приветливо головой, назвала ее по имени, протолкалась к ней, низко поклонилась у приступка дрожек и, нагнувшись над ней, стала что-то рассказывать. Дело показалось Мукомоловой так любопытно, что она пригласила вестовщицу к себе на дрожки, приказала кучеру ехать шагом и во всю дорогу, до самого жилища сопутницы своей, переговаривалась с нею чрезвычайно дельно и прилежно. У низенькой лачужки дрожки остановились; одна вышла, а другая, раскланиваясь с нею, говорила:

– Ну, спасибо вам, спасибо, Афимья Спиридоновна. Да что это вы, право, какие спесивые, никогда не зайдете! Ну хорошо, что я встретила вас теперь; а не попадись я вам, ведь вы бы и не подумали зайти да поделиться новостями, и весь город узнал бы прежде меня. Хоть пришлите, я давно призапасла для вас мерочку пеклеванной муки! – И с тем, приняв поклоны и благодарность записной наушницы и вестовщицы, которая извинялась тем, что всякому-де хочется послушать новостей, не всегда успеешь зайти, куда бы и хотелось, – Мукомолова отправилась на гулянье под Каменную гору.

Запоздав немного, Перепетуя Эльпидифоровна прибыла на место в самое то время, когда губернатор сказал громко, оборотясь к полицеймейстеру.

– Какой вы всегда вздор делаете, Иван Осипович, так уж это, право, ни на что не похоже! Не поверите, как вы надоели мне своею исправностью. Отпустите сейчас домой пожарную команду.

Иван Осипович отвечал:

– Слушаю-с. – Прокомандовал звучно и громко: – Садись, шагом – марш, – и брандмейстер, который состоял у Ивана Осиповича на правах эскадронного командира, отправился обратно в город.

– Видишь ли, что я права, – сказала полицеймейстерша супругу своему, – и что ты всегда вздор делаешь?

Иван Осипович только прокашлялся и сделал движение, будто поправился в седле, хотя шел рядом с супругою своею пешком.

Перепетуя Эльпидифоровна, встретив мужа, погладила его по щеке, взяла под руку и принялась ему рассказывать. Он было захохотал во все горло, не стал верить, но она побожилась, как Корней Власов, три разу сряду, и Мукомолов, перестав смеяться, подобрал брыле [35], скорчил деловую рожу и пригнул голову набок. Затем супруги разошлись, он пошел к своим, она к своим, и оба начали передавать весть по принадлежности. Может быть, весть эта и долго еще не дошла бы до нас, потому что Перепетуя Эльпидифоровна говорила все только шепотом, каждой барыне поодиночке, часто даже на ухо; но Мукомолов не любил тратить слов и времени по-пустому, он знал одну только тайну и держал ее крепко, а именно: когда, кому и сколько и по каким процентам отдано было им денег. Все остальное говорил он вслух. Встретясь с несколькими мужчинами, проревел он зычным голосом: «Господа, поздравляю! Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет назад в Малинов!» Затем следовало удивление, хохот, споры, подробности, доказательства, опровержения: один верил, другой не верил, третий знал это наперед, и вскоре под Каменной горой ни б чем более не говорили, как о свадьбе Лирова с Мелашей Голубцовой. Всякий судил, рядил, поздравлял, утешал и утешался, кто как мог и умел.

Здесь остается еще пояснить, какое лицо или существо была женщина в атласных башмаках и бумажном платке. Это, извольте видеть, особенное сословие Малиновских жительниц, необходимое и полезное, как мха и рожки и сытовая роса для урожая, как червоточина в яблоке. Это, собственно, так называемые *вдовушки*, а иногда они называют себя также *сиротами*; это вдовы бывших чиновников, женщины, принадлежавшие когда-то более или менее к свету, но утратившие вместе с мужем и доходное место, и честь, и славу, и вес, и значение. Они теперь стараются быть *вхожими* кой в какие дома, чтобы сказать: «Была я у такой-то, пила чай у такой-то» – и приобретать посильными трудами подмогу бедности своей и подпору сиротству. Для этого им открыта верная дорога: ходить из дома в дом и разносить вести. Откуда вести эти берутся – иногда, право, трудно разгадать; так, например, спрашиваю вас, откуда могло взяться известие о возвращении Лирова и о свадьбе его с Голубцовой? Вы скажете, вероятно торговка слышала и передала слухи и толки сироте, а эта, в свою очередь, Мукомоловой, – очень хорошо; но я

спрашиваю: откуда взяла их торговка? Чудное дело, ей-богу чудное! Отыщем поскорее своего Евсея и убедимся, что на этот раз Малиновские вестовщицы превзошли сами себя донельзя; они оставили далеко за собою всех ясновидящих целого мира, и Брюсов столетний календарь [\[36\]](#) им в подметки не годится,

Глава XI. Корней Горюнов не согласен жениться

И в самом деле, посмотрим да поглядим, что делает теперь Евсей Стахеевич: если где-нибудь можно добиться толку, распутать и размотать слышанные нами об нем в Малинове новости, то, вероятно, у него самого; надобно по крайней мере полагать, что делу без него не обойтись и что он знает об этом если не более, то по крайности и не менее малиновской торговки, вдовушки или сироты и даже самой Перепетуи Эльпидифоровны.

Ну, а что же вы скажете, почтенные читатели, если я вам докажу на деле, что Евсею Стахеевичу вовсе ничего об этом не известно и что малиновцы наши, которые, говоря вообще, гораздо более подходят к породе легавых, нежели борзых, потому что чуют верхним чутьем, – что малиновцы наши дела этого рода знают гораздо и весьма заблаговременно и всегда прежде тех, до коих они непосредственно относятся.

Итак, отправляемся из-под Каменной горы, из Малинова, прямо в Клин и навещаем Евсея в ту самую минуту, когда Мукомолов на вечернем воскресном гулянье победоносным голосом первого вестовщика восклицает: «Поздравляю, господа: Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет обратно в Малинов!»

Мы в это мгновение застаем Лирова все в той же гостинице и в той же комнате; он расхаживает себе взад и вперед и рассуждает про себя, проговариваясь иногда вслух: «Чудное дело! Не могу опомниться, не могу очнуться! Кажется, я все еще дремлю впотьмах в роковом дилижансе и вижу перед собою то, что видел тогда и чего увидеть никогда более не чаял; надобно же, чтобы я метался, как безумный, взад и вперед по московской дороге, чтобы покинул невзначай благодетеля своего, чтобы избоина ^[37] эта, Иванов, меня обманул, уверив, что она уехала в Крым, – и все это и сотня других неожиданных, маловажных и бездельных случайностей сошлись и столкнулись над бедной моей головой, и чтобы из этого всего вышло и составилось событие – да, событие; в тесном кругу жизни моей это событие не менее важное, как потоп и столпотворение для всемирной

истории. Гонимый судьбою, сидя в крайнем бедствии и самом отчаянном положении здесь, в Клине, вдруг встречаю я боготворимую Марью Ивановну...» Тут мечты стали играть в голове Лирова так несвязно, уносчиво и с таким отсутствием всякой логики и последовательности, что уловить и изложить их не беремся. Евсей кинулся в изнеможении на известный нам кожаный диван и закрыл глаза рукою.

Корней Горюнов входит, покашливает, поглядывает, переступает, как сторожевой журавль, с ноги на ногу и говорит, почесываясь:

– А что, сударь Евсей Стахеевич, чай что-нибудь да делать надо; так не сидеть же!

Лиров. Покуда само делается, так не надо.

Корней. Пожалуй, делается! Вот у нас был один такой в полку: бывало, загуляет, так пошел да пошел – и пропьет с себя все до рубашки; так будто это хорошо?

Лиров. Задача, Корней Власович, – дай подумать! Ну что же, ты боишься, чтобы и я не стал пить? Небось, не стану!

Корней. Нет, сударь, бог миловал покуда, что вперед будет; а я, сударь, говорю только, что служил и богу и великому государю двадцать пять лет верой и правдой и отродясь начальства не обманывал; а это что такое, сударь, что вы делаете, этого не видал я, старик, нигде! Выехали на большую дорогу да гонимся, прости господи, не знать за чем; и деньги все проехали, и пешком всю дорогу исходили, да и сели и сидим теперь, да так, видно, и будем сидеть сиднем сидячим?

Лиров. Коли сидеть не будет нам хуже нынешнего, так на что же и куда ехать, Корней? Дай бог посидеть этак всякому!

Корней. Дай бог, сударь, сидеть этак турке да французу, да еще кто похуже того, а не нам! Это, стало быть, уж я знаю, Евсей Стахеевич, стало быть хотите жениться, да только все это пустяки, ей-богу пустяки.

Лиров. Это ты откуда взял? К какой стати приплел ты тут женитьбу? – И за словом Евсей наш расхохотался.

Корней. Да уж известно, коли изволите говорить, что хорошо сидеть этак, так хорошо вам, стало быть, подле барышни; а пустяки это, сударь, все. Деньги прогуляли, ни Питера, ни Москвы в глаза не видали, за чем поехали, позабыли, – скоро, сударь, ведь и моих не

станет, – тогда что будем делать? Я, сударь, не хочу попрекать вас, избави меня господь; мне, старику, могила, а не деньги; где лягу – все равно, уж мне родина не там, где родился, а где закопают меня, старика: да тогда что делать станем с вами... Я, сударь, сами изволите знать, взят на службу из Сибири, шестнадцати годов от роду; сказали там: «Нужды нет, что он невелик; поколе дойдет до места, так подрастет». Покинул я молодую хозяйку, а детей, признаться, еще не было. Прослужил я верой и правдой двадцать пять лет, только на последние четыре года, как уже поясница стала одолевать меня, пошел я в денщики к майору, да и то, сударь, плакал, как с ружьем да с сумой пришлось расставаться, на безвременье словно, и они по мне и я по ним соскучился; а дай бог здоровья майору – и майор добрый был мне господин и верил завсегда, бывало: уж знает, что я его не обману. Вышла мне и чистая, так и тут, видно, согрешил я пред богом и великим государем, что не пошел охотой на другой срок – и нашивку бы дали и таскал бы ранец, поколе не задавил бы меня где-нибудь; так уж был бы один конец; а то одно то, что в денщиках уже был, другое, что спина не служила, да и домой таки захотелось: все, думается, дома лучше. Ну что ж, пошел, сударь, и домой – и в другой раз состарился, поколе дошел; год без малого плелся, да уж своего гнезда не застал: словно та же чужбина, только что тошней прежнего стало. Изба, сударь, уж не на том месте стояла, не то чтобы ворота не на тех верях ходили; да и шапку нашел я после своей на наших чужую; у хозяйки моей шестеро ребят, трое переросли уже меня, и в казаках все они, да такие молодцы, один урядником; и службу как у них хорошо знают и все построения – даже ездят, сударь, на мундштуках; это не то, например, сибирские казаки наши, что донские; это все равно что любой конно-егерский полк, только что народ еще порасторопнее будет да удалее. Что ж, известно, бабье дело, хозяйка реветь, да целовать, да в ноги; запела во всю улицу: «Ты ненаглядный мой, ты мой ясный сокол!» Что народ со всего села сбежался и все уж казаки. И хозяин новый вышел, и фуражку снял, поклонился мне, старику, и стоит, сердечный, призадумавшись, словно виноватый какой. А меня, вишь, давным-давно в покойники записали они: где, дескать, жить ему, давно убит, чай, где-нибудь, – за помин души отслужили, да и дело в шапке. Завопила, сударь, хозяйка: «Ты мой ясный сокол, ненаглядный ты мой»; а я, подумавши, и говорю: «Нет, хозяйюшка,

наглядишься ты на ненаглядного своего, коли так честишь, да не бесчести поминою ясного сокола: был таков, поколе калена стрела да и пуля свинцовая не подшибли летков молодецких, – а был, сударь, я ранен и стрелой на Кавказе, – да поколе долгая година да непогодица не обломала перья правильные! Теперь стал я сова куца, ошипанная, и плядеть тебе, хозяйошке моей, не на что!» Так я словно на побывку пришел, пожил с неделю да отдохнул и внука еще крестил у второго пасынка своего, у урядника, и крест тельный ему подарил, с себя сняв, который всю службу со мной служил, и в пятидесяти сражениях бывал, и боронил меня от смерти, хоть и ранен был я раз шесть; так тут уж и старики все говорили, что будет-де крестник удалой казак, станет бить и киргизцев и куканцев [38]. А сам я, перекрестясь, и поехал оттуда назад в Россию с барином, который в Сибирь нашу за чином ездил да отправлялся обратно в Москву. Так вот, сударь, что проку жениться-то? Ничего нет толку, одни только пустяки; только что греха, может статься, на душу возьмешь и другого на грех наведешь; а что проку?

Лиров преспокойно выслушал старика своего до конца, чтобы увидеть, чем все это кончится и куда его занесет; но потом спросил, привстав с дивана:

– Да кто же тебя настроил, старик, и откуда ты взял вести свои? Не говори, ради бога, пустяков этих: ведь люди услышат, так подумают, что тут есть какая-нибудь правда; откуда ты взял, что я сватаюсь?

Власов. Да известно, человек ищет, где плубже... тобо, где лучше, рыба – где плубже; да только пустяки все это, сударь, ей-богу!

Лиров. Да пустяки же и есть; и я тебе говорю, что пустяки, и ты говоришь, что пустяки, так о чем же мы толкуем?

Власов. Ну, пустяки так пустяки; их в сторону. Так пожалуйста, сударь, просит вас к себе барыня Марья Ивановна, приходила от нее девка.

Лиров. Экий чудак ты, старый хрен, право чудак! Что же ты мне целый час сказки сказывал, а не сказал, как вошел, что меня зовут?

– Да я только хотел, то есть, доложить вам наперед, – переминался Горюнов, – чтобы не вышло, то есть, опосля каких пустяков...

Лиров вскочил и вышел.

– Послушайте, – встретила его Марья Ивановна, – я хочу просить вас вот о чем: мы поедем вместе с вами до Твери; а там, как вам нет никакой надобности ехать теперь же в Москву, то вы и не откажетесь быть провожатым нашим до Малинова; не так ли?

Лиров. Душою был бы рад, матушка, если бы я вам хоть на это пригодился, только...

Мар. Ив. Что только? Нет, вы мне в этом не откажете. Дайте, однако же, сказать, вам еще другое слово – притворите-ка дверь, чтобы дети не слышали: мне надо спросить вас, не знаете ли, откуда это вышло, будто вы сватаетесь на Мелаше?

Лиров. Так и вы уж об этом слышали? Вы меня знаете, матушка, и поверите мне, если я вам скажу, что сплетня эта меня за вас очень огорчила, но что я знаю об ней, вероятно, еще менее вас; сейчас только старик мой рассказал мне все похождения и приключения свои, прежде чем позвал сюда, и вплел туда, бог знает к чему, предполагаемое им сватовство мое; более я не знаю решительно ничего. Я просил его убедительно не говорить такой вздор, но не мог от него добиться – чьи это догадки и откуда они взялись.

Мар. И в. Ну, бог с ними, оставим это; я только хотела высказать вам все, что у меня на душе. Слушайте же, я вам открою настоящее мое положение и буду ожидать от вас помощи. Михайло Степанович, которому мы, как опекуну, много обязаны, человек, для меня по крайней мере, самый непонятный. Без всякого дурного намерения, вероятно, он сделал меня и детей мучениками своими, и у меня уже недостает более ни сил, ни терпения. Сам же он, видно, вовсе не понимает, в чем дело; его нельзя ни вразумить, ни убедить, ни умолить – он сам оценивает услуги и одолжения свои и требует за них такую признательность, в которой я должна была отказать ему наотрез: счастьем детей я жертвовать для него не могу. Он, как видно, давно уже решил, что женится на Мелаше; он навещал детей еще в институте и, к несчастью, а может быть, и к счастью, там уже сделал невыгодное на них впечатление; они объявили мне об этом с самого начала принятым у них довольно решительным выражением: «Он такой злой, маменька, мы его презираем». Я пожурела их за это, растолковала им, что, не зная его почти вовсе, им нейдет и осуждать его; что, кроме того, он у них заступает место отца. Мягкие сердца их каялись уже в слезах и почти собирались «обожать» Оборотнева, как

этот при нынешних поездках своих с нами из столицы в столицу, где приводили мы в порядок дела по опекунским советам, и в других местах сам обращением своим все испортил и поставил меня в самое затруднительное положение. Он, видите, так странно обходится с ними, особенно с Мелашей, что бедненькие стали вовсе в тупик, не знают, что делать и как показать ему свое детское уважение и признательность; они хотят видеть в нем второго отца, а он ухаживает за ними, очень незастенчиво, женихом – и не щадит при этом никого. Я говорила с ним об этом не раз, но он меня не понимает или не хочет понять и продолжает мучить беспощадно бедных девушек. Я давно видела, что он ни в каком отношении не может быть парой для Мелашки, но не могла сказать ему это прямо, потому что он доселе еще не сватался. Наконец нынешнее утро бог послал нам вас; я узнала в вас сына, а Оборотнев – соперника. Да, соперника; не знаю как и почему, но он приступил с час тому ко мне с изъяснением и был так неосторожен, что даже начал говорить об этом при детях. Я выслала их и принуждена была сказать ему, что вы, сколько мне известно, не угрожаете ему соперничеством своим, но что я доселе считала поведение его одною только загадочною шуткою; что я никогда не стану приневоливать дочери к замужеству за немилого и что, даже и по моему мнению, он Мелашке, а она ему не пара. Благодарность благодарностью, но этого я на душу не возьму. Теперь бедненькие сидят и плачут, а Михайло Степанович вышел от меня очень недовольным; мы сидим и ждем, сами не зная чего, тогда как нам давно бы пора ехать. Вероятно, он охотно с нами расстанется, и мы прибегаем под ваше покровительство: вы довезете нас домой.

Лиров, поперхнувшись слезой, долго глядел молча на Марью Ивановну, которая спросила его еще раз:

– Так вы поедете с нами? Мы остаемся одни, и вы нас не покинете!

– Не покину, матушка, – отвечал Лиров, проснувшись, – если вы этого хотите; но нехорошо делаю, что не покидаю, нехорошо, что не покинул уже раньше, нехорошо даже, что встретился с вами!

– Я вас не понимаю, – отвечала Марья Ивановна, глядя на Лирова, – а это, вы знаете, редко случалось; что это значит?

– Это значит вот что, матушка: я – отъявленный бедовик; со мною никому не будет ни добра, ни радости, ни счастья; мой

цветочный путь еще и не засеян, я привык ходить босиком по отцветшим незабудкам, а это, как вы знаете, одни колючки. Я боюсь, не перенести бы мне к вам, в семейство ваше, мою судьбу-гонительницу, – а это бы меня убило!

– Послушайте, – сказала Марья Ивановна, – я не видала вас никогда еще столько малодушным, хотя знала вас, как мне кажется, гораздо в худшем положении, чем ныне. Я воображаемого вами несчастья не боюсь: по крайней мере если оно суждено мне, то, конечно, не от вас. Первое свидание с вами, кроме душевного удовольствия, доставляет мне еще, в крайне неприятном положении моем, помощь и спасение; вы меня можете выручить теперь...

– О, не просите же меня так убедительно, матушка, – отвечал быстро Лиров, – мне совестно пред вами и стыдно. Делайте что хотите, везите меня куда угодно: ваш ответ, если... если...

– Что если? – спросила Марья Ивановна. – Что ж? Вы покинули Малинов, где вас знали как хорошего, честного и дельного человека; вы поехали, бог знает зачем, на чужбину без средств, без пособий, даже без денег; может быть, это и неблагоприятно, но я очень понимаю и уважаю чувство, которое вас к этому побудило; и беды тут, впрочем, еще нет никакой; вы немного узнали свет, а это было вам нужно. Теперь вы воротитесь в Малинов для меня и сообразите там в другой раз, ехать ли вам опять за бедой или оставаться там, где вас знают и потому, верно, всегда дадут вам место. Подумайте хорошенько, и вы согласитесь, что я говорю правду.

– Как всегда, матушка, так и теперь говорите вы совершенную правду, – сказал Лиров, поцеловав руку Марьи Ивановны. – Я это вижу и понимаю; вижу также, что мне нельзя не ехать с вами; но, матушка, более я не могу вам сказать ничего: я не могу еще опомниться, сердце у меня как-то сжимается, здесь, в горле, давит, промеж глаз, во лбу стучит – я чего-то боюсь, и очень боюсь, – а сам не знаю чего! Еду с вами, еду; я ведь весь ваш, давно уже сын ваш, и бог мне даст силу перенести все, не спотыкаясь, не обрушиваясь всею тяжестью этого бедоносного чела ни на кого! О! От этого избави меня, боже, и дай мне силу и крепость.

Когда Лиров, взволнованный темными, безотчетными чувствами, ушел, Марья Ивановна долго еще глядела молча за ним вслед, потом, вздохнув, подумала: «Добрая душа! Я понимаю тебя, хоть и не смею

тебе этого сказать. Нет, я этого не боюсь; я знаю тебя, как сына, и не пугаюсь тебя, что бы из этого ни вышло. То, чего ты из скромности и унижения боишься, – было бы, может случиться, утешением моим, если бы было так угодно богу; но я в дело это не мешаюсь: матери дозволено только устранять Оборотневых, а что дальше будет – власть господня».

Глава XII. Евсей Стахеевич наездился и воротился

Итак, любезные читатели, мы видели, что делалось в одно и то же время, в воскресенье вечером, в Мали-нове и за пятьсот верст от него, в Клине; спрашиваю еще раз: как Малиновские вдовушки, торговки или кто бы то ни был могли знать то, что, как сметливые и прозорливые читатели мои, чай, догадываются, со временем могло бы и случиться, но чего, по крайней мере доселе, еще вовсе не было? Стало быть, малиновцы наши, как я вам и наперед уже докладывал, были в высшей степени одарены ясновидением; стало быть, они видели и слышали из-под Каменной горы своей или с этого знаменитого рынка, с базара, все, что делалось в то же самое время в Клине, и, как люди очень догадливые, вывели из этого свои заключения; иначе я этого дива, ей-ей, истолковать не умею.

Марья Ивановна Голубцова была хозяйкой того самого дома, о котором Лиров вспоминал почасту во сне и наяву; он, если не ошибаемся, говорил как-то и в рассказе нашем, что семейство, к которому он было привязался, как к родному, давно уже оставило Малинов. Голубцова, овдовев, поехала в Петербург за дочерьми, которые были отданы уже прежде в Патриотический институт; она не располагала было вовсе воротиться в Малинов, но, приведя дела свои, обще со звездистым опекуном, в порядок, не успела, однако же, продать выгодно малиновское имение свое, передумала и решилась основаться снова жительством в том же губернском городе.

Лиров знал Мелашу и Любашу детьми и нашивал их на руках, он был в доме свой, и Голубцова почти, можно сказать, воспитала Лирова, по крайней мере образовала, перевоспитала его, хотя он был и в то время уже не ребенок, руководила занятиями его, снабжала книгами и выучила двум языкам. Она любила его, как сына, и он не называл ее иначе, как матушкой. Лиров был ей одной обязан образованием своим и лучшими, утешительными минутами безотрадной жизни своей, которая, особенно в первых степенях его служения, была горька и тошна. Можете себе вообразить радость нашего бедовика, когда во время отчаянного сидения его в Клине

вдруг прикатила из Москвы карета, из которой, в глазах его, вышла Марья Ивановна с дочерьми. Оборотнев, которого тревожил и беспокоил один вид незнакомого ему вовсе Лирова, взглянул было на него через плечо: Евсей стоял опять уже, как будто на него нашел столбняк, когда Марья Ивановна первая его узнала, и радостям не было конца. Оборотнев хотя и был только, как выражался смотритель в Померанье, высокородный бригадир со звездой св. Станислава второй степени, не знал, однако, куда деваться от глупой надутый спеси, которая играла у него на лице во всех жилках, отзывалась во всех ухватках, в каждом слове, даже в чиханье и кашле... У этих господ на все свои особые приемы. Оборотнев о сю пору был холост, потому что выжидал с благим терпением известное число чинов и крестов, чтобы уже выбрать невесту вполне по желанию и вкусу, не стесняясь никакими условиями. Оборотнев был совершенно убежден, что статскому советнику благовидной наружности и важной осанки, да еще и со звездой, нет препоны, ни помехи, нет сопротивления, ни отказу; всякая и каждая, вспыхнув фимиамом признательности и подъемля на неоцененного жениха взоры благодарности и умиления, полетит с отверзтыми объятиями ему навстречу; где честь, думал Михайло Степанович, там и счастье, а он в завидной особе своей соединяет и то и другое. Между тем, однако же, *шпаковатость* – то есть скворцовая масть головы его – убедительно и настойчиво докладывала, что пора приступить к делу. Бог знает с чего и почему, выбор Оборотнева пал на Мелашу, с покойным отцом которой он был довольно короток. Но какая-то грубость, смешная самонадеянность, глупая спесь, не прикрытая даже и видом приличия, ограниченность ума и очень неловкое обращение отклонили от него заблаговременно чувства Мелаша, которая *обожала* или *презирала* всегда вместе с целым классом. Оборотнев при частых посещениях своих сделал такое неприятное впечатление на робкие девственные умы или чувства, что было положено целым классом *презирать* его, потому что он *такой недобрый*. И темное, безотчетное чувство, не руководимое ни опытом жизни, ни навычною прозорливостью, отгадало истину, потому что безотчетная приязнь и ненависть также имеют свое значение.

Оборотнев был, по завещанию Голубцова, опекун осиротевшего семейства его, хлопотал теперь в Москве и в Петербурге по разным

его делам; ездил, как мы видели, с Марьей Ивановной взад и вперед и старался при этом сблизиться с Мелашей, которую называл уже, в глаза и за глаза, невестой своей. Несмотря на своекорыстную цель этой услуги, он ценил ее, однако же, так высоко, что позволял себе быть против Голубцовой грубым, взыскательным и повелительным, чего, конечно, мало-мальски порядочный человек никогда бы себе не позволил. Мы уже видели, чем все это кончилось; затем его высокородие надулся, уехал, почти не простившись с Голубцовой, в Петербург, а Лиров отправился с нею и с дочерьми ее в Малинов, чего бедняк, не без причины может быть, столько боялся.

Что сказать вам теперь о девицах, о Мелаше и Любаше Голубцовых? Вероятно, вам случалось встретить где-нибудь одно из этих милых созданий, в которых, если говорить о каждой порознь, хотя и нет еще до времени души, – мы следуем здесь душесловию Лирова, – но которые все вместе составляют одну душу? Вы знаете, что они в Патриотическом институте своем все сами зовут друг друга *ангелами*, прибавляя к этому только номер на кровати, и даже пишут на записочках: «Милый ангел 147, ангельчик 59» и прочее. Если вы спросите у них: «Любите ли вы своего почтенного законоучителя?», то они отвечают вам в голос: «Как можно-с, мы его обожаем!» Если спросите: «А обожаете ли такого-то учителя?», то они отвечают: «Нет-с, мы его не обожаем, младший класс его обожает». Если спросите: «Плакали ль вы сегодня, когда прощались с такою-то классной дамой, которая отходит?», то они, сложив руки на передничке и глядя вам прямо в глаза, отвечают: «Плакали-с поутру и после обеда будем плакать». Таковы точно были и Мелаша с Любашею: бесплотные жилицы блаженных островов Макарийских [39], как гласят народные предания наши, перенесенные на эту грубую, плотскую и вещественную землю, на отжившую, обессиленную почву большого света, в которой нет уже ни соку, ни туку, на которую не канет благодатная капля дождя, а туман утренний стоит туманом и не рассыплется слезистою росой. Мелаша и Любаша слышали однажды о труднобольном, который, будучи безнадежен, очень страдал; они пришли перед вечернею молитвою к маменьке своей и просили с ангельскою улыбкою на устах, с пречистою слезинкою в очах своих: «Как прикажете молиться, маменька, об этом больном: чтобы он жил еще или чтобы уже бог прекратил страдания его и взял его к себе?»

Вот каковы были они, Мелаша и Любаша, чистые, праведные души, к которым еще свет не прикасался грязными когтями своими, не отравлял еще младенческой непорочности тлетворным, нечестивым дыханием своим. О, как тяжело бывает иногда бедняжкам этим обжиться снова в родительском доме, который они помнят только как несвязные грезы о колыбельной песенке! Как тяжело им иногда приурочить себя сызнова к почве и климату, в котором нет и самого отдаленного сходства с благотворным воздухом и тучным черноземом родной им теплицы, где сквозь чистые стекла так утешительно и так приветливо улыбалось им все: и небо, и земля, и люди, и громады дворцов, где сотни приемышей жужжат пчелками вокруг заботливой матки своей, не зная ни нужд, ни забот, ни потребностей, ни страстей!... А выйдут в свет – все станет иначе; вы жили в мечтательном мире, поживите же теперь в настоящем и обживетесь с ним, если сумеете.

Читатели мои сами видят, что поэтому большой разницы между обеими сестрами быть не могло," но как у творца нашего нет даже и двух совершенно однообразных былинок и все однородное основано на одном только подобии, как, в свою очередь, самое подобие – на разнообразии, то и Мелаша с Любашей, у которых было столько общего в чертах, в стане и в приемах, равно как и в нравственных и умственных качествах, были два отдельные существа. Лиров наш в этом отношении, конечно, судья не беспристрастный; но и я, как посторонний человек, пляжу на Мелашу как на создание более полное и совершенное, в котором все как-то более приуготовлено к восприятию ожидающей его души. Может быть, это потому только, что Любаша была еще полудитя, между тем как Мелаша более дозрела и, как по крайней мере казалось, обещала понять со временем чувство, о котором Любаша не имела ниже отдаленнейшего понятия. Впрочем, несмотря на замечание это и несмотря на бесконечную любовь Лирова, самое существование которой ангельская головка его еще долго-долго даже и не подозревала, – к ней очень кстати можно применить одну из любимых присказок Корнея Горюнова: слепой спросил зрячего товарища своего: «Где был?» – «В гостях у кума». – «Что ел?» – «Кашу с молоком». – «Что такое молоко, как оно бывает?» – «Сладкое и белое». – «Да какое же белое?» – «Да белое, ровно гусь». – «А гусь что такое? Какой он бывает?» – «А вот такой, –

отвечал товарищ и, согнув ему руку клюкой, представил из нее гуся, – вот какой бывает гусь». Слепой ощупал руку его кругом и сказал: «А, теперь знаю». И если бы вы меня спросили, какое понятие есть в Мелаше об этом загадочном чувстве, с которым светские девицы наши знакомятся так преждевременно, убивая цвет в самой еще почке, то я бы вам сказал: такое же, как и в слепом Власова о молоке, которого он не видал, не едал, а слышал от товарища, что оно белое, как гусь, а гуся знает, только ощупав согнутую костылем руку. И всякая неуместная попытка объяснить Мелаше, что такое любовь, кончилась бы присказкою Корнея Горюнова в лицах. Оставим же ее, бедняжку, в покое; у нее есть теперь свой доморощенный учитель. Недолго стоять затиши и под этим зыбким челном – взволнуются и эти тихомирные воды, и общая доля их не минует: один миг чистого блаженства – и годы томительной суеты.

Затем останется мне только еще сказать вам, что Лиров, примкнувши к Голубцовым, по-видимому, не навлек на них, как опасался, гнева потешавшейся доселе над ним судьбы; неукротимая, своевольная и своенравная, шаловливая, причудливая и всемогущая обратила, видно, потешный самострел свой на кого-нибудь иного, выследила себе другую погрешушку, другого бедовика и, как казалось, причислила доброго Евсея по сказкам своим к семейству Марьи Ивановны, на котором, видимо, почивала благодать божия. По крайней мере все они доехали до Малинова без всяких лирических походов, а новый председатель палаты, человек, вникнувший во все дела с беспримерною в летописях Малинова прозорливостью и самостоятельностью, прочитывая от начала до конца не одно бесконечное слушали и приказали, часто спрашивал у советника: «Да скажите, Петр Петрович, кто же у вас писал, например, этот доклад?» и на ответ: «Это бывший чиновник гражданской палаты Ли-ров», – продолжал, пожимая плечами: «Странное дело, что вы этого человека не умели удержать, тогда как теперь некому сделать даже и самой простой выписки из журнального постановления, а приходится поневоле рассылать во все места точные с них списки толщиной в целую десть!»

Поэтому Лиров не успел прибыть в Малинов, как председатель навел на него сам, расспросил подробно обо всем и предложил ему место секретаря в палате, присовокупив, что ожидают со дня на день

новое положение о преобразовании палат, по коему жалованье Лирова должно было значительно возвыситься. Благодетельное постановление это, как всем нам известно, действительно состоялось, и Лиров может теперь жить в Малинове не местом, а жалованьем.

Предоставляю читателям потешаться мысленно истинно достойным любопытства удивлением малиновцев, их шумными и нестройными возгласами, невольно напоминающими гагаканье, гусяного гурта на столь знаменитом малиновском базаре. Слышите ли при этом победоносные клики тех, которые все это пророчили, и знали, и видели наперед? Слышите ли гул извинений и оправданий тех, которые сомневались, спорили и не верили? Слышите ли также этот средний резкий голос вестовщиц и вестовщиков, которые не спорят о прошедшем, потому что заняты донельзя и набиты от пяток по самое темя будущим и настоящим? Да, друзья мои, все это шло и прошло своим чередом; все наконец свыклись с неожиданным оборотом дела, потому что старое уже не может быть новостью; языки поуспокоились или пошли выплетать каймы да оборки к новым слухам и новостям – и дела пошли опять своим чередом и порядком.

А чтобы не упрекнули меня, будто я умышленно набрал и выставил у позорного столба каких-то уродов и чудаков и выказал одну только слабую сторону города Малинова, я опять-таки ухвачусь за притчу неоцененного для меня Корнея Власовича Горюнова:

«Кочка видна по дороге издали, мечется в глаза поневоле и досаждаёт всякому; а по гладкой дороге пройдешь – и не спохватишься, что пришел!»

notes

Примечания

Впервые – «Отечественные записки», 1839, том 3, кн. 5, за подписью: *В. Луганский*.

1

Бочка Данаид. – Данаиды – дочери аргосского царя Даная; по сказаниям древних греков, в наказание за убийство своих мужей были обречены в преисподней на вечную бесполезную работу – наполнять водою бездонную бочку.

2

Гражданская палата – губернская инстанция гражданского суда.

3

Для того чтобы проститься (формула уведомления об отъезде;
франц.).

4

Сидящий верхом на передней лошади при езде цугом; то же, что фореитор.

Академический календарь – «Месяцеслов... сочиненный на знатнейшие места Российской империи в СПб, при имп. Академии наук».

6

Медок, лафит (названия вин; *франц.*).

7

Высшего качества (*франц.*).

Килиан Конрад – лейпцигский профессор медицины, автор многих трудов. В 1810 году был приглашен в Петербург в качестве врача-консультанта при Александре I и здесь через год умер. Полное название его лечебника: – «Домашний лечебник, или Обстоятельное и ясное показание, как во всех опасных, скоропостижных и хронических как наружных, так и внутренних болезнях, при отсутствии врача, можно подать нужную помощь и посредством одних домашних средств и диеты; сверх того, как поступать касательно предупреждения болезней и хранения своего здоровья, и проч.» («Соч. Килияна; пер. с нем. Петр Бутковский, СПб., 1823 г.»).

Енгальчев Парфений Николаевич (1769 – 1829) – автор лечебника (1799 г.), пользовавшегося большой популярностью и неоднократно переиздававшегося. Полное название: «О продолжении человеческой жизни, или Домашний лечебник, заключающий в себе: средства, как достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранять здравие надежнейшими средствами и пользоваться болезнью всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти всюду перед глазами нашими находящихся, составленный из лучших отечественных и иностранных писателей кн. Парфением Енгальчевым».

Для любопытных я храню донесение это в подлиннике. (*Прим. автора.*)

Евсей Стахеевич, конечно, никогда не ожидал, что через несколько лет после этой скромной думы, собственно ему принадлежащей, явится столь знаменитый поборник разговорного языка. [*...знаменитый поборник разговорного языка...* – Это примечание отсутствует в журнальном тексте. Подразумевается здесь известный в первой половине XIX века реакционный журналист О. И. Сенковский, писавший под псевдонимом Барон Брамбеус. Он усердно пропагандировал введение разговорных элементов в литературный русский язык и чрезмерно ими уснащал собственные произведения. В 1835 году Сенковский выступил в редактируемом им журнале «Библиотека для чтения» (том 8, кн. 1) со статьей-фельетоном, где в острой полемической форме ратовал за разговорный литературный язык. Статья называлась: «Резолюция в челобитную *сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы* и других причастных к оной челобитной по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из Русского языка».

А. С. Пушкин, в общем благожелательно отнесшийся к этой статье, писал в «Письме к издателю», напечатанном в «Современнике», том III за 1836 год: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным – значит не знать языка» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, издание АН СССР, 1949, том VII, стр. 439).] Впрочем, хотя и тот и другой, один мысленно, про себя, другой громко, гласно и всенародно, советовали писать, как говорим, но понятия их об этом разговорном языке, как видно, не совсем согласны. Смею поручиться, что Евсей Стахеевич никогда не писал так, как пишет и даже печатает знаменитый совместник или соревнователь его; сей последний смело может приписать разговорный язык свой собственно себе, не уступая никому,

ни даже Евсею Стахеевичу, ни былинки, ни пылинки своего изобретения, *(Прим. автора.)*

Головоломка (*франц.*).

Скопа – птица семейства сокольных, питающаяся, подобно чайке, рыбой.

Тяжеловес – старое название топаза.

15

Клок – плащ, вид верхней женской одежды.

Городом (Китай-городом) раньше назывался торговый центр Москвы – торговые ряды с Гостиным двором (где теперь находится ГУМ), Никольская (ныне улица 25 Октября), Ильинка, Варварка с пересекающими их переулками.

Образцовый полк. – Так называемые образцовые кавалерийский и пехотный полки входили в состав Гвардейского корпуса и дислоцировались в Петербурге.

то есть с помощью взятки, подкупа; шутовское выражение от украинского слова «ховати» – хоронить, прятать. Возможно, что это выражение ввел в литературный язык Н. В. Гоголь; см. «Мертвые души», т. 1-, гл. XI.

Свинцовый сахар – ядовитая уксуснокислая свинцовая соль.

Село Грузино – было центром аракчеевских военных поселений.

Кунсткамера (кабинет редкостей) – первый естественнонаучный музей в России, основанный Петром I в 1714 году. В 30-е годы XIX века из нее выделились в самостоятельные учреждения Анатомический, Ботанический, Зоологический и др. музеи.

Грановитая палата – замечательное произведение древнерусского зодчества, созданная в конце XV века в Московском Кремле. Внутренняя отделка ее много раз возобновлялась.

Имеется в виду Александровская колонна, воздвигнутая на Дворцовой площади в Петербурге в 1829 – 1834 годах по проекту А. А. Монферрана, в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Крупнейший в мире колокол, весом свыше 200 тонн, отлитый в 1733 – 1735 годах, был водружен на гранитный пьедестал в Московском Кремле в 1836 году.

...лежат две свинки... – сфинксы. Находятся не на Английской набережной (ныне набережная Красного флота), а на правом берегу Невы, перед Академией художеств. Здесь в 1832 – 1834 годах был сооружен гранитный спуск к реке и на верхней террасе установлены два высеченных из гранита сфинкса. Они были найдены при археологических раскопках на месте древней столицы Египта Фив и приобретены русским правительством.

Шут подновинский. – В Москве на пустыре, где позднее был разбит Новинский бульвар (ныне улица Чайковского), со времен Екатерины II устраивались народные гулянья во время масленицы, пасхи и т. п., где происходили различные представления.

То есть гроб: «Тот ларчик, где ни статья, ни сесть» («Горе от ума», д. II, явл. I)

Полгодины – полчасы.

Патриотический институт. – Так же, как Смольный институт, – закрытое женское учебно-воспитательное заведение. Но сюда принимали только дочерей военных дворян. Создан в 1813 году.

Фомина неделя – следующая после пасхальной недели.

Антенорово путешествие. – Произведение «Антеноровы путешествия по Греции и Азии» французского писателя Э. Ф. Лантье (1734 – 1826) было известно в России в начале XIX века в переводе П. И. Макарова.

...из романа «Павел и Виргиния»... – знаменитый в свое время «чувствительный» роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737 – 1814). На русский язык переведен в 1793 году.

Малек-Адель – герой «посредственного», по выражению Пушкина, романа «Матильда, или Крестовые походы» французской писательницы Коттен (1770 – 1807). По свидетельству Загоскина (в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году»), «русские дамы бредили Малек-Аделем, искали его везде». Имя это упоминается в «Евгении Онегине», у Жуковского в «Послании к Ушаковой и Хилковой», у Тургенева в рассказе «Конец Чертопханова».

Грицько Основьяненко – псевдоним українського драматурга і беллетриста Григорія Федоровича Квитка (1778 – 1843).

Брыле – губа.

Брюсов столетний календарь – первый русский календарь, составленный библиотекарем Куприяновым под наблюдением сподвижника Петра I Я. В. Брюса и изданный в 1709 – 1715 годах. Его полное название: «Календарь повсеместный и месяцеслов на вся лета господня», Кроме астрономических данных о продолжительности дня и ночи и т. п., в календаре приводились различные Церковные справки и астрологические предсказания по положению планет. Брюсов календарь пользовался большим успехом и неоднократно переиздавался.

Избоина – нахальный человек, негодяй.

Куканцы (кокандцы) – народ среднеазиатского Ко-кандского ханства.

...бесплотные жилицы блаженных островов Макарийских... – Мифические острова (греч. Μακαριος – счастливый, блаженный), расположенные на краю земли, где восходит солнце. В средние века существовала легенда, что Александр Македонский во время похода на восток доходил до Макарийских островов. Описание этого мифа дано А. Н. Афанасьевым в его труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1865 – 1869)